Жан Кокто

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Двойной шпагат» — роман Жана Кокто — по-возрожденчески одаренного человека, который стал на долгие годы символом современного авангарда.

"…Кокто хорош тем, что красота, безупречный стиль у него всегда на первом плане, а потом уже все остальное. Я нигде не видел (речь идет о прозе, не о живописи) такого внимания к прекрасному на таком бытовом уровне.

Даже любовь выглядит у Кокто бедной родственницей его эстетических взлетов и художественных обобщений. Все подчинено строгой иерархии безупречного стиля, во всем без труда угадывается вертикаль красоты…."

- Жан Кокто
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - Эпилог

Жан Кокто
Двойной шпагат

I

Жак Форестье был скор на слезы. Поводом для них могли быть кинематограф, пошлая музыка, какой-нибудь роман с продолжением. Он не путал эти ложные признаки чувствительности с настоящими слезами. Те лились без видимых причин. Поскольку свои малые слезы он скрывал в полумраке ложи или в уединении за книгой, а настоящие — все-таки редкость, он считался человеком бесстрастным и остроумным.

Репутацией интеллектуала он был обязан быстроте мышления. Он скликал рифмы с разных концов света и сочетал их так, что казалось, будто они рифмовались всегда. Через рифмы мы слышим — неважно что.

Бесцеремонным толчком он посылал имена собственные, характеры, действия, робкие высказывания в их крайнюю степень. Эта манера снискала ему репутацию лжеца.

Добавим, что прекрасное тело или прекрасное лицо восхищали его независимо от того, какому полу принадлежали. Эта странность давала основание наделять его порочными наклонностями: порочные наклонности — единственное, чем наделяют не задумываясь.

Не обладая такой внешностью, какой бы ему хотелось, не отвечая созданному им образу идеального юноши, Жак и не пытался достичь этого столь далекого от него совершенства. Он развивал слабости, тики и чудачества до того, что переставал их стесняться. Он ими добровольно щеголял.

Возделывание неблагодарной почвы, укрощение, облагораживание сорных трав придали его облику нечто суровое, совершенно не вязавшееся с его мягкостью.

Так, из худощавого, каким он был от природы, он сделался тощим; из ранимого — заживо освежеванным. Его желтые волосы, торчащие во все стороны, не укладывались в прическу, и он стриг их ежиком.

В общем, эта внешность, по сути своей антиискусственная, обладала всеми преимуществами искусной мистификации, маскируя мещанскую приверженность к порядку, болезненное бескорыстие, унаследованное от отца, и материнскую меланхоличность.

Если б кто-нибудь из ловких, безжалостных парижских охотников его обнаружил, свернуть ему шею не составило бы труда. Одного слова хватало, чтоб его обескуражить.

Из презрения к скороспелому превосходству, которое приобретается отрицанием устоев собственного класса, Жак эти

устои принимал, но на такой необычный лад, что его семья не могла признать их за свои.

В общем, он отличался подозрительной изысканностью — изысканностью зоологической. Такой вот аристократ, не выносящий аристократии, парень из народа, не выносящий масс, тысячу раз на дню заслуживает Бастилии или гильотины.

Его не устраивают ни правые, ни левые, которых он считает мягкотелыми. Только для него, человека крайностей, золотой середины не существует.

В подтверждение аксиомы «Противоположности сходятся» ему мечталась некая девственно-крайняя правая партия, сходящаяся с крайней левой до полного слияния, но чтобы он мог действовать там один. Кресла нет, а если есть — оно никем не занято. Жак усаживался в него, как положено, и оттуда рассматривал все вопросы политики, искусства, морали.

Он не домогался никакого вознаграждения. Люди этого не любят.

Те, что домогаются — потому что бескорыстие притягивает удачу, которую они не способны признать честной. Те, что вознаграждают — потому что у них ничего не просят.

Достичь. Жаку не совсем ясно, чего, собственно, достигают. Короны или Святой Елены достиг Бонапарт? Чего достиг поезд, наделавший шуму, сойдя с рельсов и убив пассажиров? Не большим ли достижением было бы для него достичь станции?

Подыскивая для Жака подходящий прообраз в глубине веков, я разоблачаю его как существо паразитическое.

В самом деле: где бумага, подтверждающая его право наслаждаться трапезой, прекрасным видом, девушкой, мужчинами? Пусть покажет. Все общество вырастает перед ним, как постовой, и требует эту бумагу. Он теряется. Мямлит неизвестно что. Он не может ее найти.

Этот искатель наслаждений, чьи ноги уверенно ступают по земной тверди, этот критик пейзажей и творений держится здесь на ниточке.

Он тяжел, как водолаз в скафандре.

Жак копает в глубину. Он ее угадывает. Он к ней приспособился. Его не вытаскивают на поверхность. Его забыли. Подняться на поверхность, скинуть шлем и костюм — это переход от жизни к смерти. Но через шланг к нему доходит некое нездешнее дыхание, которое животворит его и переполняет ностальгией.

Жак живет в постоянном противоборстве с долгим обмороком. Он не ощущает себя устойчивым. Он ни на что не ставит, кроме как в игре. Едва осмеливается разве что присесть.

Он из тех моряков, что не могут исцелиться от морской болезни.

В конечном счете, красоте чисто физической свойственна надменная манера быть везде как дома. Жак, изгнанник, жаждет этой красоты. Чем менее она снисходительна, тем сильнее его волнует; его судьба — вечно об нее раниться.

За стеклом он видит праздник: расу, у которой все бумаги в порядке, которая радуется жизни, существует в своей природной среде и обходится без скафандров.

Значит, он соберет на лицах, не смягченных нежностью, урожай снов.

Вот что открыл бы идеальному графологу почерк Жака Форестье, который стоит сейчас перед зеркальным шкафом, вглядываясь в свое отражение.

Смотрите не ошибитесь. Мы только что описали Жака Форестье анфас, но тут его характер вырисовывается пока лишь в профиль; вот почему мы и говорим об идеальном графологе. Хорошо бы, чтоб он, распутывая буквенную вязь, распутал всю линию жизни. Жак станет человеком, который в какой-то мере опережает причину того, чему предстоит случиться; и с ним произойдет то, чему предстоит случиться, в какой-то мере из-за того, что опередило причину.

Вещи, атомы относятся к своей роли серьезно. Если бы зеркало зазевалось, Жак, несомненно, мог бы шагнуть в него ногой, потом другой, увидеть себя под другим жизненным углом, таким новым, что его и вообразить невозможно. Нет. Зеркало играет жестко. Зеркало есть зеркало. Шкаф есть шкаф. Комната есть комната, третий этаж, улица Эстрапад.

Еще он думает о том англичанине, который покончил с собой, оставив записку: «Слишком много пуговиц, чем застегивать их и расстегивать, лучше умереть». Потому что Жак расстегивает куртку.

Ждать. Чего ждать? Жаку хотелось бы ждать чего-то определенного, упростить свое ожидание. Он не был верующим или верил так смутно, что мать молилась за него как за атеиста…

Неопределенная вера порождает дилетантские души. А дилетантизм — преступление перед обществом. Он верил больше, чем подобает. Он не ограничивал и не уточнял своих верований. Самоограничение в вере придает определенный настрой душе, так же, как ограничение и уточнение своих пристрастий в искусстве придает определенный настрой уму.

Он смотрел на себя. Он заставлял себя смотреть.

В нас много такого, что выталкивает нас за порог собственной личности. С самого детства Жака обуревало желание не добиться любви того, кто казался ему прекрасным, а быть им.

Собственная красота ему не нравилась. Он считал ее уродливой.

Воспоминания о человеческой красоте оставались в его памяти ранами. Например, один вечер в Мюррене. У подножия горы наспех пьют холодное пиво, которое выстрелом в упор ударяет в виски. Фуникулер трогается в путь среди шелковиц. Понемногу закладывает уши, нос уже не закладывает; приехали.

Жаку одиннадцать. Он помнит священника, у которого пропал чемодан, полудрему, гостиницу, благоухающую смолой, муторное прибытие в зал, где дамы раскладывают пасьянсы, а господа курят и читают газеты. Вдруг — какая-то заминка у клетки лифта, лифт спускается и высаживает молодую пару. Юноша и девушка, темнолицые, с глазами как звезды, смеются, сверкая ослепительными зубами.

На девушке белое платье с голубым поясом. Юноша в смокинге. Слышится звон посуды, и запах кухни оскверняет коридоры.

Едва очутившись в своей комнате с видом на стену цельного льда, Жак разглядывает себя. Он сравнивает себя с этой парой. Ему хочется умереть.

Потом он с ними познакомился. Тигран д'Ибрео, сын армянина, живущего в Каире, коллекционировал марки и готовил на керосиновой лампе тошнотворные сладости. Его сестра Иджи ходила в новых платьях и стоптанных туфлях. Они танцевали друг с другом.

Стоптанные туфли и медовые лепешки были знаком царственной, но убогой расы. Жак бредил этой кухней и этой рванью. Он не видел иного средства перевоплотиться в этих двух священных кошек. Ему тут же захотелось коллекционировать марки и делать миндальные леденцы. Он нарочно портил свои новые теннисные туфли.

Иджи кашляла. У нее был туберкулез. Тигран сломал ногу на катке. Отцу слали телеграммы. Однажды утром они уехали — кашляя, хромая, в сопровождении пса, таинственного, как Анубис.

Жак кашлял; его мать перепугалась до безумия. Он оставил ее тревогу без внимания. Кашлял он из любви. Гуляя, он тайно хромал.

Каждый вечер после обеда он усаживался в плетеное кресло, и ему казалось, что он воочию видит Иджи в ее платье Святой Девы в освещенной рамке лифта, между лифтером и Тиграном, возносящуюся в небеса на крыльях ангелов.

С одиннадцати до восемнадцати лет он истлевал, как «армянская бумажка», которая быстро сгорает и не очень приятно пахнет.

В конце концов поездки в Швейцарию прекратились. Г-жа Форестье перевезла его с итальянских озер в Венецию.

На Лаго-Маджоре он познакомился с одним студентом, изучавшим Бергсона и Тэна. У него были белокурые усы, лорнет и скепсис переодетого Барреса. Интеллект его был отточен донельзя — он смаковал его и тем истончал, как леденцовую палочку. Этот непослушный послушник науки смотрел на Борромейские острова свысока. Он прозвал их «сестры Изола».

Его причуда стала для Жака откровением — ему впервые открылось, что можно вольно использовать свои пять чувств. Сам он принимал эти острова безоговорочно.

Пышный ярмарочный тир, рассыпавшийся в крошки — это Венеция днем. Ночью это влюбленная негритянка, умирающая в ванне, вся в мишурных драгоценностях.

В вечер приезда гостиничная гондола заманчива, как ярмарочный аттракцион. Это не будничное средство передвижения. Родители, увы, этого не понимают. Венеция начнется завтра. Сегодня мы в гондоле не поедем: поедем на пароходике. Сколько у нас мест? Сегодня мы не смотрим на город, напоминающий кулисы Оперы во время антракта. На следующее утро Жак увидел толпы туристов. На площади Святого Марка захлопнутая в ловушку этой театральной декорации элегантная толпа, как на бале-маскараде, выдает все свои секреты. Самая откровенная беззастенчивость не считается ни с возрастом, ни с полом. Самые робкие наконец-то позволяют себе жест или наряд, о котором стыдились мечтать в Лондоне или Париже.

Бал-маскарад срывает маски — это факт. Ни дать ни взять отборочная комиссия. Огнями рамп, прожекторами Венеция высвечивает души во всей их наготе.

Любовный недуг Жака принял еще более изощренную форму, чем в Мюррене.

Ночью, лежа под москитной сеткой, он слышал звуки гитар, тенора. Ему мерещились какие-то темные дела. Он плакал о том, что не может быть этим городом. Сам Гелиогабал в немыслимейших из своих капризов не претендовал на такое.

Студент из Бавено проездом оказался в Венеции. Он познакомил Жака с одним журналистом и с танцовщицей. Они часто гуляли вместе.

Как-то ночью журналист провожал Жака до гостиницы.

— В Париже у меня скверная компания, — сказал он. — Я люблю эту девушку, о чем она не подозревает. Вернуться к прежним связям для меня невозможно, а с другой стороны, я чувствую, порвать с ними будет нелегко.

Но если Берта {так звали танцовщицу) вас любит…

О, она меня не любит. Вы-то должны бы это знать. Впрочем, я собираюсь покончить с собой через два часа.

Жак съязвил по поводу классического самоубийства в Венеции и пожелал ему спокойной ночи.

Журналист покончил с собой. Танцовщица любила Жака. Он этого не заметил и узнал лишь годы спустя через третье лицо.

Этот эпизод внушил ему отвращение к поэзии малярии. Еще из прогулки по садам Эдема он вынес перемежающуюся лихорадку — неприятное напоминание о поездке.

Г-жа Форестье боялась насморков, бронхитов, дорожных аварий. Опасностей, подстерегающих дух, она не видела. Она предоставляла Жаку играть с ними.

Венеция обмишурила Жака, как декорация, покоробившаяся за долгую службу, ибо каждый артист воздвигает ее хоть для одного акта своей жизни.

В музеях после двух часов внимательного обхода роскошь наездником вскакивала ему на плечи.

Разбитый усталостью, от которой сводило мышцы, он выходил, спускался по ступеням, смотрел, как палаццо Дарио, подобно престарелой певице, приветствует ложи напротив, и возвращался в гостиницу. Он восхищался бодростью пар, осматривающих Венецию с неутомимостью насекомых. Те, кто знает ее наизусть, кто сто раз уже погружал хоботок в золотую пыльцу Святого Марка, водят по ней своих новых возлюбленных. Роль чичероне омолаживает их. Единственная передышка, которую они себе позволяют, это присесть в лавке, где предмет их нежных чувств покупает стеклянные украшения, томики Уайльда и д'Аннунцио.

Подобно нам, у кого с ней старые счеты, Жак, при поддержке своей лихорадки, настраивал себя против этой запечатленной прелести, этого дивного замкнутого дома, куда приходят насыщаться избранные души.

Сама наша дотошность доказывает, насколько он был подвержен очарованию, которое отвергала его темная сторона.

Темная сторона — светлая сторона: таково освещение планет. Одна сторона мира отдыхает, другая работает. Но та сторона, что погружена в сон, излучает таинственную силу.

У человека эта сонная сторона, случается, оказывается в противоречии со стороной действующей. То проявляется его истинная природа. Если урок идет на пользу, пусть человек к нему прислушивается и упорядочивает свою светлую сторону; тогда темная сторона станет опасной. Ее роль изменится. С нее потянутся миазмы. Мы еще увидим Жака в борьбе с этой ночью

человеческого тела.

Пока что она подстраховывает его, посылает ему противоядия, напильники, веревочные лестницы.

Не всякая помощь достигает цели. Париж — город более коварный, чем Венеция, в том смысле, что он лучше скрывает свои ловушки, и его машинерия не так наивна. О Венеции, как об определенных домах, заранее известно, что там есть вода, комната с зеркалами, комната Веронезе, изможденные красотки в розовых рубашках и риск подцепить болезнь.

А как ориентироваться в Париже?

Жак, этот парижанин, этот баловень судьбы, попал в Париж из провинции.

Так было пять месяцев назад, но где-то по пути он пересек тончайшую возрастную линию, где дух и тело делают выбор.

Его мать думала, что везет обратно того же человека, немного отвлекшегося панорамами Италии. А привезла другого. И метаморфоза эта произошла именно в Венеции. Жак осознавал ее лишь как неприятное ощущение. Он приписывал его самоубийству, которому был свидетелем, и сценам вечернего промысла под аркадами. На самом деле он оставил старую кожу плавать в Большом Канале — сухую шкурку вроде тех, что ужи нацепляют на колючки шиповника, легких, как пена, лопнувших по губам и глазам.

II

Карта нашей жизни сложена таким образом, что мы видим не одну пересекающую ее большую дорогу, но каждый раз новую дорожку с каждым новым разворотом карты. Нам представляется, что мы выбираем, а выбора у нас нет.

Один молодой садовник-перс говорит своему принцу:

— Сегодня утром мне встретилась смерть. Она сделала мне угрожающий знак. Спаси меня. Я хотел бы каким-нибудь чудом оказаться нынче вечером в Исфагане.

Добрый принц дает ему своих лошадей. В тот же день принц встречает смерть.

Почему, — спрашивает он, — ты угрожала сегодня утром моему садовнику?

Я не угрожала, — отвечает она, — то был жест удивления. Ибо он встретился мне этим утром далеко от Исфагана, между тем как сегодня вечером я должна забрать его в Исфагане.

Жак готовился к экзаменам на степень бакалавра. Родители, лишившись образцового управляющего и вынужденные весь год оставаться в Турени, поместили Жака пансионером к г-ну Берлину, преподавателю, проживавшему на улице Эстрапад.

Г-н Берлин снимал два этажа. Себе он оставил второй, а пансионеров размешал на третьем, в пяти комнатах вдоль неприглядного коридора, освещенного газовым рожком, выкрутить который на полную мощность не позволяла замазка застарелой пыли.

По одну сторону комнаты Жака квартировал Махеддин Баштарзи, сын богатого торговца из Сент-Эжена, алжирского варианта Отейля, а по другую — альбинос Пьер де Марисель. Напротив жил очень юный ученик с безвольным, но очаровательным личикам. Он отзывался на прозвище Дружок.

Годом раньше в Солони он и его младший брат задумали устроить каверзу своему гувернеру. Но в тот самый момент, когда они, нарядившись привидениями, подкрались в полночь к его спальне, дверь открылась, и вышла их мать в ночной сорочке и простоволосая. Дверная створка прикрывала мальчиков. Мать прошла через вестибюль, постояла, прислушиваясь, под отцовской дверью и вернулась к гувернеру, не заметив их.

Птикопену так и не суждено было забыть минуту, когда они снова улеглись, не проронив ни единого слова.

Последняя комната была обителью беспорядка. Там в развале книг, тетрадей, галстуков, рубах, трубок, чернил, цилиндров, стилографов, губок, носовых платков и пледов располагался

лагерем Питер Стопвэл, чемпион по прыжкам в длину.

Г-жа Берлин была много свежее своего мужа, вдовца по первому браку. Она жеманилась и воображала, что ученики в нее влюблены. Иногда заявлялась в чью-нибудь комнату, и тогда поспешность сокрытия каких-нибудь не относящихся к учебе занятий выставляла пансионера в дурацком виде. Она вгоняла ученика в краску пристальным взглядом и разражалась смехом.

Она декламировала Расина в местах, где приличествует молчать. Однажды ученики слышали, как, догадавшись, что ее за этим застигли, она преобразовала декламацию в кашель, плавно перешедший в молчание.

Одним из штрихов, характерных для г-жи Берлин, был следующий. В начале своего брака они с Берлиным, живя тогда за городом, сдавали комнату некоей разведенной пианистке. Берлин каждый вечер возвращался из коллежа семичасовым поездом. Как-то ему пришлось заночевать в городе. Г-жа Берлин, будучи очень пуглива, умоляла пианистку лечь с ней. Пианистка проявила отзывчивость и перебралась в супружескую постель. В какую-то неделю Берлин дважды не ночевал дома, и жена его возобновляла свою просьбу. Пианистка желала соседке доброй ночи, поворачивалась к стенке и засыпала, а утром поспешно уходила в свою комнату.

Семь лет спустя в компании, где разговор зашел об этой пианистке, причем все толковали о ее подозрительных наклонностях, г-жа Берлин загадочно улыбнулась и объявила, что «имеет все основания полагать» на основе «личного опыта»: " дурная слава этой женщины — дутая"…

Наивная в своем актерстве, она, например, надеялась выдать желаемое за действительное, когда, подав остывший чай, делала вид, будто обожглась: "Подождите, не пейте! — восклицала она. — Это же кипяток!"

Берлин смотрел на жену, на учеников, на жизнь тусклым взглядом сквозь очки.

Он носил белую бороду и шлепанцы. Его брюки были как у статиста, изображающего заднюю часть маскарадного слона. Он преподавал в Сорбонне, играл в карты в кафе «Вольтер» и шел домой спать. Этой сонливостью вовсю пользовались, отвечая вместо урока что попало и сдувая задания с уже существующих переводов.

И в довершение картины — служанка. Всякий раз другая. Их меняли каждые две недели, главным образом за чистку стенных часов Буль, которые г-н Берлин заводил самолично и не терпел, чтобы к ним прикасались.

Все вышеперечисленные собирались в полдень и в восемь

часов за столом, где г-жа Берлин распределяла между ними жесткое мясо.

Ее муж ел машинально. Иногда икал, и это темное содрогание колебало его, как снежную гору.

Питер Стопвэл был бы образцом античной красоты, если б прыжки в длину не вытянули в длину его самого, как плохо снятую фотографию. Он окончил Оксфорд. Оттуда шли его хладнокровная наглость, сорта его сигарет, темно-синие шарфы и многоликая аморальность под безликостью спортивной формы. Дружок любил его. По воскресеньям он таскал за ним до самого Парка де Пренс сумку с гимнастическим трико и махровым халатом.

Любить и быть любимым — вот идеал. Если, конечно, имеется в виду то же лицо. Часто это не совпадает. Дружок любил и был любим. Только любим он был практиканткой из лаборатории, а любил Стопвэла. Эта любовь ошеломляла его.

Он пал жертвой полумрака, в котором неосознанные чувства сталкиваются сердцем.

Такая любовь льстила Стопвэлу. Он никак этого не выказывал. Холодно осаживал бедного мальчика. "Это не принято", — говорил он в ответ на детские попытки приласкаться. Или даже: "Вы, знаете ли, неопрятны. Умывайтесь. Принимайте ванну. Обтирайтесь. Вы никогда не моетесь. Кто не моется, от того дурно пахнет".

Часто замечания Стопвэла были английской манерой поддразнивания. Но Дружку были ведомы лишь азы смеха и слез. Он не понимал. И считал себя и впрямь грязным, порочным и придурковатым.

Как-то вечером, когда Дружок, сидя на краю кровати возле курящего Питера Стопвэла, благоговейно положил руку ему на плечо, Стопвэл отпихнул его и спросил, девчонка он, что ли — вешаться на шею мужчинам?

Дружок залился слезами.

— О Боже, — сказал Стопвэл, прикуривая сигарету от окурка, который отшвырнул не глядя, — вечно вы клянчите, хнычете, цепляетесь, ластитесь. Сходили бы лучше к девочкам. Возле Пантеона можно найти за пятьдесят сантимов.

Марисель был шестым сыном в захудалой дворянской семье. Хронический запор бесконечно удерживал этого альбиноса в одном месте, которое из-за него становилось недоступным. В семье Марисель считалось, что разрешать такого рода проблемы следует только терпением, так что младший сын умер от разрыва аневризмы, пытаясь пересилить судьбу.

— У вас, французов, — говорил Стопвэл Дружку, — грязные

вкусы. Мольер только и пишет, что о клистирах.

Дружок вешал нос и не решался переступить осмеянный порог.

Махеддин Баштарзи, турок по происхождению, хранил верность феске. Таковых у него было три: одна красная, одна из серого меха, одна каракулевая. Он был крупный, жирный пустой малый. На его визитных карточках красовалась странная надпись:

Махеддин Баштарзи

Инспектор

Он писал стихи; нюхал эфир. Однажды, когда эфиром запахло слишком сильно, Жак вошел к нему в комнату и застал хозяина в феске, сидящим в распахнутом окне. Слюняво распустив губы, одной рукой зажимая левую ноздрю, а другой поднося к правой аптечную склянку, он покачивался, не слыша Жака, оглушенный льдистыми цикадами наркотика.

О такой ли среде мечтала для сына мнительная мать, опасающаяся микробов сквозняков?

Только Жак, несколько дней подичившись, начал осваиваться в заведении Берлина, как спокойствие было нарушено трагикомической интермедией. Дружок заболел, и характер недуга не оставлял сомнений в его происхождении.

Г-н Берлин исповедовал больного. Он узнал, что бедный мальчик последовал совету Стопвэла, поняв его буквально. Дружок рыдал.

— Невероятно! — восклицала г-жа Берлин.

Однако не следовало допускать огласки.

Жак навещал больного каждый день. Однажды вечером Дружок безжизненным голосом попросил узнать у Питера, почему тот ни разу к нему не зашел.

Стопвэл, окутанный облаком, штудировал Огюста Конта.

Почему? — сказал он, — да потому, что он мне противен. Уж не думаете ли вы, что мне хочется видеть парня, который спит с больными девками? Что до меня, то я не сплю ни с кем.

Это жестоко, — пролепетал Жак. — Бедный мальчик, он просит о такой малости.

Малость! Если бы товарищи по клубу увидели меня, когда он мусолит мне руки… По-моему, вы забываетесь.

Это "если бы товарищи по клубу увидели" прозвучало, как в устах девственницы "если бы моя мать увидела".

Жак собирался уйти, как вдруг Питер, распечатывая пачку сигарет, придержал его за рукав.

— Вы что, возвращаетесь к этой мартышке? В Оксфорде мы с такими обращаемся, как со слугами. Бросьте, посидите со мной.

Хватка у него была геркулесовская. Он усадил Жака на

сундук.

Довольно ли было одного этого жеста, чтобы маска упала? Так розы теряют округлость ланит, едва толкнешь вазу. Жак увидел незнакомое лицо, утратившее всякую апатичность и совсем нагое.

Он встал.

Нет, Стопвэл, — сказал он, — время позднее. Мне надо написать письмо.

Как хотите, старина.

Стопвэл отвернулся с ловкостью шулера и явил ему заново одетое лицо, новехонькую маску, поддерживаемую сигаретой.

В итоге Жак снискал неприязнь Дружка, завидовавшего фальшивой благосклонности, которую выказывал ему Стопвэл. Стопвэл ненавидел его и скрывал это. Баштарзи не мог ему простить, что тот вошел, когда он нюхал эфир. Марисель презирал их всех скопом.

Оставались супруги Берлин.

Порой за столом от меткого слова Жака что-то загоралось в глазах профессора, а г-жа Берлин, которой муж препоручил обязанности надзирательницы, задерживалась в его комнате дольше, чем в других. Стопвэлу, на ее взгляд, недоставало «галантности». Араб ей "внушал страх". Остальные двое были мальчишки.

Как-то в субботу вечером, когда все ученики разошлись, кто к родным, кто в театр, Жак, у которого болело горло, остался один на всем этаже. Г-жа Берлин принесла ему лечебный отвар, пощупала лоб и пульс. Жак скоро заметил, что профессорша повторяет подходы Стопвэла; однако на этот раз холодность, вместо того чтобы погасить пламя, раздувала его, и г-жа Берлин мало-помалу выходила из своей роли второй матери.

Жак притворялся ничего не понимающим и, покашливая, постанывая, как больной, ищущий спокойной позы, смотрел сквозь ресницы на г-жу Берлин, чей разум колебало желание, как вправо и влево по стенам комнаты колебала свеча ее тень.

Наконец она с удивительной цепкостью потянула к себе его руку.

— Жак! Жак! — шептала она, — что вы делаете!

Скрип дверей в парадном спас его. Г-жа Берлин отпустила руку, оправилась и упорхнула.

Махеддин вернулся из театра. Жак слышал, как он насвистывает модный мотивчик. Он фальшивил и начинал заново, так же фальшиво.

Наутро за столом Жак не решался взглянуть на г-жу Берлин. Она, напротив, поддразнивала его, успокаивала, прощала.

Жак жил в полном одиночестве и трудился, как истый зубрила. Что он знал? Ничего. Разве только то, что каждое движение осложняет наши отношения с себе подобными.

Он хотел бы умереть от своей простуды. Но кашель уже почти прошел.

Махеддин предложил ему сходить вместе в «Скалу». По воскресеньям и четвергам можно было совсем задешево взять билеты в первый ряд. Жак старался не уступить в дружелюбии. Он согласился. Соблазнили и Дружка. От своей семьи, живущей на севере, — тот получал неплохие денежки.

Вот так на третье воскресенье Жак познакомился с любовницей Махеддина — Луизой Шампань.

Луиза пользовалась большей известностью, чем ее танцы, и занимала в полусвете лучшее место, чем на афишах. Она принадлежала к тем женщинам, которым платят пятьдесят франков в театре и пятьдесят тысяч на дому. Она ска зала Жаку, что не годится жить одному и что она сосватает ему свою подругу Жермену.

Эта знаменитость играла четыре роли в ревю, до полусмерти заезженном тремя сотнями представлений.

Жермена улыбалась с недосягаемой высоты между оркестром и куполом. Ее красота балансировала на волосок от уродства, но балансировала так, как акробатка на волосок от смерти. Есть и такой способ брать за сердце.

Эта игра света и тени привлекала Жака.

Увы, та доля свободы, которой мы обладаем, позволяет нам совершать ошибки, которых избежало бы растение или животное. Свое желание Жак распознал в свете Луизиной лампы.

Устроив первую встречу в своей уборной, Луиза взяла на себя дальнейшие переговоры и попросила Жака на следующий день прийти к ней домой на улицу Моншанен.

Он смылся с занятий, как говорят школьники, и, оставив дома Махеддина, помчался на назначенное свидание.

Шампань была расстроена. Он не понравился Жермене. Та признала, что он не лишен очарования, но не в ее вкусе.

Луизе было грустно передавать дурные вести.

— Бедненький!

Она погладила его по головке, ущипнула за нос, короче говоря, без обиняков предложила себя в качестве утешительницы.

Питер, г-жа Берлин — это бы еще ладно. Отказывать становилось труднее. Шампань была красива, а с кушетки некуда было деться. Они наставили рога Махеддину.

Баштарзи ни о чем не подозревал и поносил Жермену, потому что ее автомобиль был вместительнее, чем машина

Луизы, и арабу так и виделись гаремные сцены.

В одно из воскресений Жак проходил за кулисами мимо уборной Жермены. Та позвала его, закрыла дверь и спросила, почему это после посольства Луизы, на которое она дала благосклонный ответ, он воротит нос и доводит свою неучтивость до того, что ей самой приходится требовать объяснений.

Жак так и остолбенел. Жермена увидела, что недоумение его непритворно, обласкала его, утешила и перестала разговаривать с Луизой.

Жак, объявив, что ему претит обманывать Махеддина, переметнулся к своему новому завоеванию. Луиза оговорила его перед Махеддином, заявив, что он к ней приставал. Она не желала больше его видеть.

Соседи с улицы Эстрапад отныне жили каждый сам по себе.

III

Одно из искусств Парижа, безусловно наихудшее, — это магическое выведение пятен. Их не сводят — их возводят. И вот дурная слава, став действительно славой, дает не меньшие преимущества, чем добрая. Она требует и не меньших усилий. Многие содержанки подстраховываются сценой. Театр — это пошлина, которую они платят.

Но основному промыслу он мешает.

Пройдя профилактический курс театра, Жермена и Луиза дали себе отдых. Надолго. Искусство их не прокармливало.

У Жермены был богатый любовник, богатый настолько, что одно имя его означало богатство. Звался он Нестор Озирис, как марка сигарет. Его брат Лазарь содержал Лут, младшую сестру Жермены.

Жермена была способна на истинную нежность и охотно послала бы Озириса к черту, но сестра никогда не забывала о выгоде.

На Жака она поглядывала косо, хотя сама изменяла Лазарю с каким-то художником. Она знала, что сестра ее в таком деле нипочем не сохранит осторожности, и боялась, что это плохо кончится.

Она была похожа на Жермену, как похож на мраморную статую ее гипсовый слепок. Иначе говоря, между ними было только одно различие: все.

Вопреки гнусной атмосфере, которой он дышал после пережитого кризиса, сердце Жака оставалось нетронутым и способным облагородить что угодно.

Жермена черпала свою юную свежесть из грязи. Ею она насыщалась с прожорливостью розы; и как роза предстает в виде бездонных уст, добывающих свой аромат у мертвецов, так же и ее смех, ее губы, румянец своей ослепительностью были обязаны биржевым крахам.

Безучастность пейзажа оправдывает в наших глазах презрение к нему. Пойди Венеция ему навстречу — стал бы Жак презирать Венецию?

Сердце живет в заточении. Отсюда его темные порывы и безнадежные муки. Всегда готовое дарить свои богатства, оно полностью зависит от оболочки. Бедное, слепое, что оно знает? Оно подстерегает хоть какой-нибудь знак, который выведет его из тоскливого бездействия. Нащупывает тысячью фибров. Стоит ли того предмет, на который ему предлагают обратить свои усилия? Неважно. Оно доверчиво расточает себя, а если получает приказ

прекратить, сжимается, смертельно опустошенное.

Сердце Жака наконец-то получило разрешение действовать. Оно взялось за это с неуклюжестью и рвением новичка. Испугал Жака и новый для него эффект сорванной печати, которая есть внутри у каждого из нас, а будучи снята, высвобождает сильнейший наркотик. С такой же скоростью, как на экране кинематографа маленькая фигурка женщины в толпе сменяется лицом той же женщины крупным планом, вшестеро больше натуральной величины, лицо Жермены заполнило мир, заслонило будущее, закрыло от Жака не только экзамены и товарищей, но и мать, отца, его самого. Вокруг царила тьма. Добавим, что в этой тьме скрывался Озирис. Есть сказка, в которой дети зашивают камни в живот спящему волку. Просыпаясь, Жак ощущал незнакомую тяжесть, потерю равновесия, отчего недолго и утонуть наподобие того волка, нагнувшись к воде напиться.

Да, Жермена любила его. Но ее сердечку это было не в новинку. Силы изначально оказались неравны.

В цирке неосторожная мать позволяет продемонстрировать на ее ребенке фокус китайского мага. Ребенка помещают в сундук. Сундук открывают: он пуст. Снова закрывают. Открывают: ребенок вылезает и возвращается на свое место. А между тем ребенок уже не тот. Никто об этом не догадывается.

В один воскресный день перед Жаком предстала мать. Она пришла за ним в пансион и увела с собой. Не сумев понять, что увезла из Венеции совсем другого сына, как же она могла учуять его нынешнюю метаморфозу? Она отметила, что выглядит он хорошо, хотя немного похудел. Так в переводе на материнский язык читались его усталость и пламя его румянца.

Г-жа Форестье была близорука и жила прошлым: две причины, мешающие ей четко представлять себе настоящее. В сыне она любила его сходство с бабушкой, а в муже — отца Жака. Она казалась холодной, потому что из крайней щепетильности взяла себе за правило ни с кем не связываться, боясь того, что называла увлечениями. Ее единственная подруга умерла. Жизнь ее замыкалась церковью, благопристойным супружеством и страхами за будущее Жака.

Наедине она изводила его нежными придирками, но при посторонних или при отце превозносила.

Если мы оставляем в стороне г-на Форестье, то потому лишь, что он сам держался в стороне. В молодости он натерпелся от такого же демона, как тот, что мучил Жака. Он обезвредил его учебой и женитьбой. Но демона просто так не обезвредишь. Прямая, здоровая натура исчахла, все в себе ощущая как противоестественное. Все же г-н Форестье догадывался о

метаниях Жака, узнавал их и смирялся с безнадежностью, как больной саркомой, который вылечил плечо и вдруг обнаруживает, что болезнь перекинулась в колено.

Ну как ты, Жак, — сказала мать, — здоров?

Да, мама.

Занимаешься?

Да, мама.

А товарищи?

Ничего. Один араб, один англичанин, двое совсем мальчишки.

Живя с англичанином, тебе бы надо поучиться у него языку.

Эта фраза унесла Жака так далеко от реальности, что он не ответил. Обычно он любил гулять с матерью, но сейчас жалел разделяемое с ней время, как потерянное.

Ложь угнетала его, делала окружающую атмосферу искусственной, непригодной для дыхания. Раз нельзя поделиться Жерменой, он предпочитал, чтобы мать поскорее уехала, не вынуждала его удерживать ее на расстоянии.

Жак любил.

Он не желал быть Жерменой. Он желал ею обладать.

Впервые в жизни его желание не принимало болезненных форм. Впервые ему не была ненавистна собственная особа. Он верил, что исцелился окончательно.

Беспредметная жажда красоты убивает.

Мы уже объясняли, как изнурял себя Жак, обращая свои желания к пустоте. Ибо что они, как не пустота — эти фигуры и лица, по которым взгляд наш отчаянно шарит, не находя отклика?

На этот раз желание столкнулось не с бесчувственной поверхностью, и отзывом Жермены был как раз образ Жака: так экран дарует свободу фильму, который без преграды остался бы всего лишь белым снопом. Жак видел свое отражение в этом желании, и впервые встреча с собой волновала его. Жерменино себя он любил. Терялось ощущение разыгрываемой роли, которую он совершенствовал, не пытаясь соприкоснуться со своим идеалом.

До этих пор женщины, которым он нравился, не нравились ему. Их вялый профиль он узнавал с первого взгляда. Сколько бы ни было в мире лиц, подразделяются они всего на несколько категорий. Видя грудастую брюнетку определенного типа, Жак заранее мог сказать, что она в него влюбится. Жермена не принадлежала к породе высоких, внушающих трепет девиц, носящих имена скаковых лошадей. Но было в ней что-то от той недосягаемости, той сверхъестественности, которые превращают

какого-нибудь моряка с набережной Неаполя или теннисистку из Холгейта в щемящее воспоминание.

Итак, один из тысячи прохожих остановился. Попался. Можно любить в нем все улицы, все города в вечер приезда, волнующую атмосферу порта, Иджи и Тиграна д'Ибрео, собаку-шакала, женевскую акробатическую труппу и наездницу из римского цирка.

Таким размышлениям он безостановочно предавался до самого отхода поезда, умчавшего г-жу Форестье в Тур.

IV

— Да брось, Луг, — говорила Жермена сестре. — Нестор ничего и не заметит. Надо только, чтоб ты представила нам Жака как приятеля твоего художника. (Денежный мешок знал, что делается за спиной брата, и это тешило его эгоизм.) — Он обожает, когда его посвящают в секреты, а для нас так меньше риска.

Озирис был до изумления легковерен. Любовница льстила этой самоуверенности, принимая его в сообщники против Лазаря.

В одну из первых ночей, что Нестор провел с ней, в дверь позвонил молодой актер, ее любовник, перепутавший дни.

— Прячься, — шепнула она Озирису, — это мой старикашка.

Озирис вскочил, сгреб свои вещи, залез в платяной шкаф, задыхался там, пока Жермена принимала молодого человека, а выйдя, чуть не лопался от гордости.

Столь мастерский ход и положил начало их связи. Не надо из этого заключать, что Жермена — низкое существо. Она защищалась. В ее действиях не было расчета.

Еще девчонками они с сестрой мечтали о Ледовом дворце, который представлялся им чертогом из сплошных зеркал. Однажды в воскресенье они пошли туда, а вышли с целой свитой хорошо одетых мужчин. Один из них совратил Жермену.

Когда он бросил ее, она нанялась к какой-то модистке на Монмартре. В один прекрасный день модистка сказала ей: "Летка, послезавтра меня собираются арестовать. Я смываюсь, лавку оставляю на тебя". С собой она забрала белье и жемчуга.

Жермена осталась, вывесила в витрине плакат, гласивший, что шляпки ценой в двести франков продаются по двадцать пять, за полдня распродала все до единой, выставила на их месте устарелые модели, которые откопала в подвале, наняла грузовую подводу, перевезла стол, стулья и трюмо в комнату, которая все еще оставалась за ней, а остатки предоставила подбирать швейцару.

В ней сидел уличный бес. Она ничуть этого не стыдилась.

Обедая с Лут, Нестором и Лазарем в модном ресторане, она пролила вино. Тут же подоспел метрдотель и застелил пятно клеенкой, пока не принесли скатерть. Эта клеенка пробудила у сестер одни и те же воспоминания. Они пере глянулись. Лут покраснела, а Жермена воскликнула:

— Ой, клеенка! Так и вижу Бельвиль, лампу, суп, папашу Рато…

Настоящая их фамилия была Рато. При Несторе отцу и

матери Рато грех было жаловаться. Им теперь принадлежала чудесная ферма в окрестностях Парижа.

Обе сестры, ферма Рато, братья Озирис, Жак, его семья, его мечта — смесь взрывоопасная. Впрочем, составляет такие смеси судьба. Ей нравится химичить над людьми.

Если бы желания Жака кристаллизовались и если бы мы рассмотрели поближе все их множество, как рассматриваем Жермену, приемлемее ли оказался бы результат?

Нарцисс любил себя. За это преступление боги превратили его в цветок. Этот цветок вызывает мигрень, а его луковица даже не заставляет плакать. Заслуживает ли он каких-либо других слез?

С нашим Нарциссом дело обстояло сложнее. Он любил воды реки. Но реки текут, не обращая внимания на купальщиков, на деревья, которые отражает их гладь. Их желание — море. В его объятиях завершают они свой вечный бег и сладострастно в нем тонут.

Жак все время чувствовал, что человеческая красота, подобно реке, имеет русло и цель. Она движется мимо, куда-то. Корабль поднимает якорь, опускается занавес мюзик-холла, семья Ибрео возвращается к своим богам.

На сей раз вода остановилась и любовно отражает его. Он наставляет морю рога. Возможно, за ответ говорящей воды он принимает голос русалки. Но он не анализирует. Его сердце слишком занято.

Мы уже говорили, что для сердца Жермены это была не первая кампания. Привычка нисколько не остужала энтузиазма ее увлечений. Всякий раз она влюблялась впервые. Недоумевала, как могла она прежде любить других, и играла новую партию, раскрывая все свои карты. Она не старалась подольше сохранить огонь, прикопав его золой. Она горела в полный рост и на полной скорости.

Это ее свойство искренне переживать все впервые не позволяло ей отвечать на порывы Жака затверженным пылом поднаторевшей в своем искусстве девицы.

Буря перемешала все их сокровища, не разбирая, где чьи и откуда взялись.

Ибо, если Жак многое растратил впустую, но принес с собой свои мечты, то Жермена, много отдававшая, много и получила. Так что приняла она его не с пустыми руками.

Последняя фраза напрашивается на двойное толкование. Тут опять-таки порыв увлек Жака за пределы совести. Богатый покровитель мог бы быть и мужем — обманутым мужем.

Жермене обманывать Нестора казалось делом настолько

законным, что у нее не возникало и тени смущения. Бесстыдство заразительно. Жак счел вполне естественной хитрость, состоявшую в том, чтобы представить его приятелем художника. Обед, сопутствовавший знакомству, немало позабавил его. За десертом Жермена, забывшись, обратилась к нему на «ты». Он сидел справа от нее.

— Ты читал статью Х.?.. — Отвечай же, тебя ведь спрашиваю, — добавила она почти без заминки, обернувшись к сидящему слева Нестору, ошеломленному, сбитому с толку ловким трюком наперсточника. Они посмеялись над ложной тревогой.

Озирис проникся к Жаку симпатией. Он обнаружил, что тот знает толк в цифрах. Столь абсурдное суждение основывалось на том, что Жак слушал его. Его либо слушали, либо нет. Лишь это грубое различие он проводил между людьми, не обладая тем складом ума, который позволяет видеть неповторимость каждого.

Настоящие свидания происходили на улице Добиньи в квартирке на первом этаже, темной, как картины того художника.

Квартирка принадлежала Жермене. По ее словам, ей нужен был свой уголок, чтоб иногда отдыхать от Нестора. В свете такого объяснения получалось, что уголок этот — именно то, что надо, но лишь на первое время. Так ей казалось. Она побаивалась г-жи Сюплис, консьержки. И не того, что консьержка подумает: "Еще один!", а как бы ту не шокировало, что девушка перестала приходить одна.

Ласки, даже самые всепоглощающие, имеют свой предел. Жак, почти девственник, пытался утолить беспредельное желание. Первое объятие обмануло его надежды. Постепенно головокружение прошло, и его разум и взор вновь обрели раскованность.

Тогда, созерцая эту запрокинутую, умирающую в подушках Лездемону, ее пугающую бледность, обнаживший зубы оскал, он набрасывал на это лицо постыдные воспоминания и выходил из нее, как нож.

Жермена без оглядки расточала свои пышно цветущие ласки. То была пышность букета уличной цветочницы. Завянет букет — покупают новый. А Жаку нужны были корни. Его любовь, эта аномалия, развивалась нормально, постепенно. Он любил себя, любил путешествия, слишком много всего любил в своей подруге. Жермена любила своего возлюбленного — и только.

V

Такой образ жизни требовал стратегических ухищрений на улице Эстрапад, где Жак убивал время, которое проживали вместе Жермена и Озирис.

Ближе к вечеру он придумывал себе какое-нибудь дело в библиотеке Святой Женевьевы.

Эта библиотека — алиби шалопаев Латинского квартала. Если бы все, кому надлежит там находиться, действительно туда ходили, пришлось бы пристроить еще одно крыло. Помирившись с Махеддином и Луизой, Жак каждую четвертую ночь проводил вне дома. Они с арабом оставляли незапертой дверь парадного. Запирали ее на рассвете, возвращаясь от своих любовниц.

Луиза принимала Махеддина у себя дома. Двое заговорщиков встречались у ворот парка Монсо и ждали открытия метро.

В этом отправлении на казнь не было ничего веселого. Они клевали носом среди работниц, едущих на фабрику.

Обвести вокруг пальца профессора труда не составляло. Он ничего не видел и видеть не хотел. Исправностью учеников в посещении и ежемесячной оплате лекций его требования исчерпывались.

Жена его — та видела. Видела, но зеркально. Она пребывала в убеждении, что Жак в нее влюблен и, не в силах обмануть доверие своего учителя, избегает ее общества, пытаясь отвлечься с девочками из кафе "Суфле".

Со стороны араба, признавала она, весьма похвально его опекать.

Каждое воскресенье Стопвэл напрягала себе некую таинственную пружину, чтобы выиграть состязания по прыжкам. Всю остальную неделю он пребывал в апатии — поджидал почтальона, который вечно должен был доставить ему чек, окутывался воскурениями трубки и чайника. Его огромное тело загромождало всю комнату. После обеда он облачался в фуляровый костюм и засыпал бесформенной грудой, отравленный табаком.

Птикопен служил этому деспоту с робостью юных медсестер, ухаживающих за сумасшедшими. Эту должность он совмещал с обязанностями дозорного, которые нес при Махеддине.

На Питера он не обижался. Он видел за его позой тьму слабостей, природы которых не понимал, но догадывался, что они — свидетельство уязвимости. Вместе с запахом светлого табака его обоняние будоражила поэзия Англии.

Он любил Стопвэла, как латиняне мало-помалу уступают

городу с розами здоровья на щеках, с сердцем черного угля — Лондону, этому снотворному маку.

Он любил в нем сон, королевский монетный двор, ланей на лужайках, герцогов, которые женятся на актрисах, китайцев на берегах Темзы.

В редких случаях, когда Стопвэл хоть что-то говорил, это были хвалы Оксфорду, раю колледжей и лавок, где можно найти лучших эллинистов и элегантнейшие перчатки в мире.

Юный Марисель, замучившись сидеть и надеяться под слуховым окошком, словно принцесса в башне, заболел. Он лечился в замке Марисель, почтовое отделение Марисель Ле Марисель — адрес, потешавший пансионеров и вносивший оживление в застольную беседу.

В одну ноябрьскую среду, на которую Баштарзи назначил Жермене и Жаку встречу у Луизы, они увидели там даму — маленькую, сухонькую, без шляпы, с изумрудным кулоном на шее, сидящую в гостиной. Это была мать Луизы. Жак остолбенел, узнав г-жу Сюплис, консьержку с улицы Добиньи. Тамошний домовладелец был одним из прежних покровителей Луизы. Жермена ему об этом и словом не обмолвилась.

— Добрый день, сударыня, — сказала Жермена. — Какое у вас платье, прелесть! Луиза дома?

— Нет, — монотонно проговорила консьержка, — мадемуазель еще не вернулась.

Они сели. Молчали, покашливали. Но г-жа Сюплис скоро оттаяла. Она принялась расхваливать Махеддина, который представлялся ей турецким принцем.

Впрочем, Махеддин, робевший перед, интеллектуалами и скрывавший от них свои литературные опыты, не знал удержу перед приказчиками и простофилями. За фразами г-жи Сюпплис, текущими сплошной строкой без точек и запятых, угадывались сказки, которые он, видимо, ей рассказывал, не имея возможности ослепить кого-нибудь повыше.

Жак боялся взглянуть на Жермену. То-то бы он удивился, если бы увидел, что она не смеется. Она улыбнулась. Встала.

— Милая мамочка Лили, — воскликнула она, — в своем репертуаре! — и по-свойски потрепала ее по колену.

Вошли Луиза и Махеддин. Встреча их, казалось, не обрадовала, особенно Махеддина.

Может ли писатель всунуть в середину книги историю, выходящую за ее пределы? Да, если эта история уточняет характеристику одного из персонажей. Так вот, следует уточнить, что Луиза была добрая душа, но истая Сюплис-Шампань.

Во времена, предшествующие началу этой книги, Луиза

танцевала в «Эльдорадо». Четверо школяров ходили туда ей аплодировать и бросать к ее ногам букетики фиалок. Первого января они отважились подарить ей кулон. Самый отпетый стянул у какой-то престарелой родственницы изумруд. Он простодушно согласился предоставить жребию решать, кто преподнесет подарок. Жребий пал на самого робкого. Луиза поблагодарила небрежной лаской. Они решили, что изумруд для актрисы — мелочь, капля в море. Никто не вспомнил, что море именно из капель и состоит.

Спустя долгое время после заключительного эпизода нашей книги, робкий подросток, с тех пор ставший дипломатом, где-то встретил Луизу. Пустились в воспоминания.

— Помните, — сказала она, — тот кулончик под изумруд? Я его отдала матери. Она с ним не расставалась. Велела так и похоронить ее с этим кулоном.

Дипломат признался, что изумруд был краденый и настоящий. Луиза побледнела.

— Вы можете в этом поклясться? — спросила она. И он не решился поклясться, ибо у Луизы в тот миг было лицо гробозора.

Вернемся на улицу Моншанен.

Излюбленным местом обеих парочек был скейтинг. Туда они и направились. Бармен и инструкторы были их добрыми знакомыми.

Молодой человек с лицом белошвейки, в плаще с капюшоном и жемчужном колье крутился между столиками, улыбаясь одним, задевая других, кричал, что еще круг — и его стошнит. Отработанные модуляции его голоса напоминали нелепые выверты стиля модерн.

В любом другом месте этого монстра побили бы камнями. Здесь он был неким фетишем. Его обласкивали, всякое его слово в свой адрес почитали за честь. Он приветствовал Жермену и Луизу рукопожатием, а мужчин — кокетливой ужимкой.

Темная сторона Жака тщетно передавала его светлой стороне ощущение морального дискомфорта. Он принял этот рваный ритм, приспособился к нему. Он шел по крышам походкой лунатика, и голова у него не кружилась.

Монстр соизволил на минутку подсесть к ним. Приглушенным на это время голосом он расхваливал кольца Луизы. Демонстрировал свои. Рассказывал про налет полиции.

Когда движется все сразу, кажется, будто ничто не движется.

Осознать свою душевную леность Жаку мог бы помочь какой-нибудь неподвижный ориентир. Пусть бы он, к примеру, представил себе отца или мать посреди этого гульбища. Но сейчас он действовал далеко от них, далеко от самого себя, уютно

облокачиваясь на зеркало грязных вод.

Окажись он в таком месте один, ему стало бы противно. Неотделимый от Жермены, которая запанибрата болтала с фетишем, он ничем не возмущался и жил как живется.

Оркестр заиграл модный танец.

Мода умирает молодой. Вот почему так серьезна ее легковесность. Апломб успеха и грусть о его скоротечности облагораживали этот танец. Всей этой музыке суждено было в свой срок пронзить сердце Жака. Они закружились по площадке.

Когда все остановились, глядя, как монстр исполняет очередной номер, Луиза вдруг вскрикнула: Вы? — и они, обернувшись, увидели Озириса, который игриво улыбался, опираясь на трость, между тем как его нос, цилиндр, жемчужная булавка сверкали в свете электрических шаров.

— Да, дети мои, я самый! И даже вполне довольный. Последние дни меня донимают анонимными письмами, в которых говорится, что Жермена целыми днями пропадает на скейтинге с любовником. Я решил проверить и убедился, что это выдумки. Вот так-то, — заключил он, потрепав Жака по плечу, — потому что между нами, голубчик, не в обиду вам будь сказано (на вкус на цвет товарищей нет), вы — не ее тип мужчины.

Он сел. Жермена молотила его кулачками, грозилась и оправлялась от встряски.

— Вообще-то, — сказал он, раскрывая бумажник, — мне сдается, что это почерк Лазаря, Может быть, он решил поквитаться. Вот, Жак, возьмите, мой мальчик, проглядите эти письма. Вы, молодежь, выросли на Рокамболе, вы тут лучше разберетесь, чем такой старый дурак, как я.

— Ну как, мы любим глупого старенького папочку? — сюсюкал он, щекоча Жермене подбородок, — любим, а?

И Жермена, снова на коне, надежно утвердясь в седле, отвечала:

— Нет, не любим. Никто не любит шпионов.

Жизнь Жака напоминала всегда неприбранные комнаты женщин Монмартра, которые встают в четыре часа и накидывают пальто поверх ночной рубашки, чтобы выйти поесть. При таком положении дел всегда нарастает напряженность. Нестор больше не смеялся, не показывал писем. Жака он не подозревал, несмотря на прямые улики; он подозревал Жермену. Ослепленный самолюбием, он вполне допускал, что она может изменять ему с мужчиной его возраста и дородства, что он наивно именовал "ее типом", но чтобы с малышом Жаком — в такое поверить было выше его сил. Подобная возможность даже не рассматривалась. Он проникся к Жаку особым доверием и

просил его присматривать за Жерменой.

— Мне ведь приходится чуть ли не жить на бирже, и работаю я часто до поздней ночи. Вы уж не оставляйте ее одну, сопровождайте повсюду. Сделайте мне такое одолжение.

С некоторых пор Нестор Озирис отводил душу сценами. Пока еще он не угрожал; бил только статуэтки. Жермена заметила, что при каждом примирении он дарил ей бронзовых зверюшек. Это позволяло ему устраивать погромы без особого ущерба. Китайского фарфора и терракоты он избегал.

Когда он разбил саксонскую статуэтку, Жермена поняла, что водевиль начинает оборачиваться драмой. Он обшаривал ее комоды, выискивал следы, подкупал маникюрш — совсем потерял голову.

Как-то вечером, побывав перед тем у дантиста, он застал Жермену полулежащей в шезлонге. Он спросил, принимала ли она кого-нибудь. Она отвечала, что никто не приходил, что она весь день то читала, то дремала. Так оно и было.

Нестор вышел в прихожую повесить шубу. И вернулся, потрясая тростью с черепаховым набалдашником.

— А это что? Вот это? — вопил он. — Раз твой приятель оставляет в моей прихожей свою трость, ты у меня ее отведаешь!

Жермена закрыла книгу.

— Вы с ума сошли, — сказала она. — Извольте выйти вон.

Зазвонил телефон.

— Не трогай трубку, — заорал Нестор. — Если это владелец трости, я сам с ним поговорю.

Звонок действительно имел прямое отношение к трости. Дантист просил г-на Озириса проверить, не произошла ли ошибка, потому что у другого его клиента оказалась трость с монограммой Н. О. вместо его собственной с черепаховым набалдашником.

Жермена скромно торжествовала. Этот эпизод обеспечил ей мир на целых четыре дня.

По воскресеньям братья Озирис охотились. Выезжали накануне, в пять часов. И тут уж Жермена была свободна. В эту субботу Нестор пожертвовал охотой, чтоб остаться с ней. То был галантный жест, долженствующий снискать ее прошение.

Жермена сумела скрыть досаду. Она предупредила Жака. Всего разумнее ему оставаться дома, на улице Эстрапад, и пораньше лечь спать.

В девять часов Жак читал у себя в комнате, равно как и остальные пансионеры (за исключением Махеддина), как вдруг на лестничной площадке раздался робкий звонок.

Птикопен, исполнявший обязанности привратника, открыв

дверь и с кем-то пошептавшись, постучался к Жаку и объявил, что это к нему. В дверях стояла Жермена с сумкой в руках. Жак глазам своим не верил.

Чисто рефлекторно он задвинул ногой под комод старые носки. Жермена смеялась над его изумлением.

Ей стало невмоготу скучать за столом с Нестором. Она сказала ему:

Посиди тут; я пойду на кухню, приготовлю салат-сюрприз. — Взяла смену белья, кое-что из одежды и удрала через черный ход.

Не ругай меня, любимый, — упрашивала она. — Я свободна, свободна, свободна. Пусть он там хоть все перебьет. Я увожу тебя в свадебное путешествие.

Бывает, что пейзажи, открывающиеся по пути следования, выглядят настолько иными на обратном пути, что человеку, возвращающемуся с прогулки, кажется, что он заблудился. Родную деревню, увиденную в неожиданном ракурсе с какого-нибудь холма, можно принять за другую, незнакомую. В свете явления Жермены на улице Эстрапад любовница предстала Жаку едва узнаваемой, а собственную комнату и вовсе было не узнать.

С минуту до него доходил смысл предложения: сесть в ближайший поезд и провести воскресенье на ферме стариков Рато, уехавших в Гавр.

Оправившись от шока, Жак впал в такое же буйное помешательство, как и Жермена. Они окрестили свое путешествие "Вокруг света". Жаку надо было спуститься к хозяйке и предупредить, что он уезжает и вернется в понедельник утром к началу занятий.

Не рискуя оставлять Жермену в своей комнате, куда мог зайти Питер, он закрыл ее в пустующей комнате Мариселя, снабдив лампой и сигаретами. Там она была в безопасности.

Спустившись, Жак застал профессорскую чету за важным делом: профессор заводил свои часы Буль. Пришлось ждать, пока пробьет подряд все «ровно» и «половины». После чего Жак, и без того исчезавший каждый субботний вечер, сообщил, что проведет воскресенье за городом у приятеля.

Берлины не возражали, лишь бы ученик предстал в понедельник утром в кабинете наставника. Жак побежал наверх, освободил Жермену, и они быстро собрались.

Все уместилось в одну сумку. Это обстоятельство стало лишним поводом для ликования. Они давились от неудержимого смеха. Жак, продолжая игру в "Вокруг света", шептал, что надо соблюдать осторожность, пробираясь мимо каюты злодея-англичанина с красными бакенбардами, с мешком денег и вуалью из сачкового тюля. Этот англичанин выслеживает их от самого

Ливерпуля и строит козни им на погибель.

Освещая себе путь спичками, они беспрепятственно спустились по лестнице и сели в автомобиль, оставленный Жерменой на углу улицы Муфтар.

VI

Чтобы передать дух этого путешествия, потребовался бы весь волшебный арсенал иллюзиониста. Флажки, букеты, фонарики, яйца, золотые рыбки.

Жермена сохранила нежный пушок нетронутого персика — сохранила чудом. Ее не раз уже трогали. Жака уберегала от грязи некая защитная оболочка, наподобие жирового слоя, благодаря которому лебедь не намокает в воде. Но и тот, и другая пропускали мимо первые заснеженные деревья, первых животных на своем пути, как полуночник, возвращаясь домой в пять часов утра, пропускает мимо телеги зеленщиков, направляющихся на рынок.

Впрочем, это неважно. В Жермене было что-то наследственно-сельское. Она возвращалась в потерянный рай, и Жак был уже не Жаком, а Жерменой, а значит, одной из тех повозок на высоких колесах, которые ранним утром дышат свежестью на площади Согласия, баюкая огородников, спящих, подобно королям-лежебокам, на ложе из капусты и роз.

Поистине, Жермена кому угодно отвела бы глаза. Впору было и впрямь подумать, что не иллюзионист, а весна собственной персоной пускает в ход свои тайные пружины и ящики с двойным дном.

Как же было Жаку, который мирился с идолом скейтинга, не принять эту бутафорскую раннюю зелень за настоящую?

"Тысячи дорог удаляют от цели, — говорит Монтень, — к ней ведет одна".

Жак шел к цели. В вагоне он прижимал к себе Жермену, согревал ее и ребячился вовсю.

Жак не нравился себе, но другим нравился. Они с Жерменой составляли красивую пару. Все принимали их за бесхитростных юных влюбленных, собравшихся на прогулку.

Сколько непосредственности, сколько сюрпризов! Но эти сюрпризы бедной девочке брать было неоткуда, кроме как из рукава.

Закулисных нитей Жак не видел так же искренне, как дети, аплодирующие представлению. Заслужить аплодисменты детей — уже хорошо.

Жермена, отбросив прежние уловки, искренне верила в золотые часы и голубей, которых извлекала на свет. Иллюзионист разделял иллюзии публики.

И вообще это путешествие было единственным глотком свежего воздуха, единственным чистым счастьем, которое им

выпало.

Ферма была маленькая. Жермена перездоровалась со всеми служанками и коровами. Целая свора щенков не давала ей проходу, покусывая за ноги. Она вскрикивала, отбрыкивалась, роняла шляпку.

Завтракали в зале, где в камине пылал пожар. Ели чистые продукты, каких никогда не едят в городе. Только сыр в виноградном листе, подпорченный по всем правилам, составлял разительный контраст творогу и свежему мясу.

После завтрака Жермена показала Жаку комнату отца, старого и уже неисправимого пьяницы.

Посреди этой комнаты висел бумажный абажур всех цветов радуги. На комоде стояли выцветшие матросские и свадебные фотографии, а под стеклом — полумакет фрегата, наклеенный на волны, писанные зеленой краской.

— Вот тут я — девственница, — сказала Жермена, протянув Жаку рамку из морских раковин. Раковины окружали голого младенца.

У Жермены была здесь своя комната. Там они спали и там любили друг друга — в последний раз. Предчувствовал ли это Жак? Ни сном ни духом. Как и Жермена. И это понятно, поскольку в дальнейшем им предстояло еще не раз заниматься любовью.

Они пустились в обратный путь на рассвете третьего дня, не успев устать. Они слышали петухов, занимавшихся друг от друга, как огоньки огромного газового канделябра. Все было обледенелое, мокрое, девственное. Жермена храбро щеголяла красным носом. Ни морщинки не являла она чистому утру.

В шкафу она откопала свою старую фотографию. На снимке глаза у нее были близоруко прищурены. Жаку эта гримаска показалась божественной. Жермена подарила ему фотографию.

Еще они взяли с собой творога и свежих яиц. Они действительно объехали вокруг света.

Жермена успела забыть, как выглядят парижские улицы в такую рань. Нечаянная радость еще продлила приключение. Это было возвращение в привычный уклад, не омраченное печалью. Крики торговцев, тренировочная гонка тощих бегунов за велосипедистами; служанки, выколачивающие вывешенные из окон коврики, курящиеся паром лошади напоминали ей детство.

Они договорились, что после занятий Жак придет к ней завтракать. Взяли такси, потому что Жермене захотелось подвезти его.

Шофер гнал, как бешеный, срезал углы, перемахивал островки безопасности. Жермену и Жака швыряло друг на друга,

из стороны в сторону, они целовались, стукаясь зубами, и веселились от души.

При каждом новом подвиге шофер оглядывался, пожимал плечами и подмигивал им.

После долгих объятий Жермена высадила Жака на улице Эстрапад. Было около десяти. Он глядел на ее машущую перчатку, пока такси набирало скорость. Времени ему как раз хватило, чтобы переодеться и ровно в срок, подобно Филеасу Фоггу, прибыть вместе с однокашниками в кабинет, где г-н Берлин пытался научить их географии.

Жермена зашла на почту и позвонила домой. Жозефина, которой в тот знаменательный вечер приказано было отвечать Озирису, что она не видела, как мадам уходила, рассказала ей о бешенстве бедняги. О его розысках, мольбах, проклятиях. Он разбил зеркало, а потом плакал, ибо был суеверен. Все воскресенье караулил телефонные звонки, подъезжающие автомобили, метался по комнате. Наконец, уже вечером, заявил с нарочитым спокойствием:

— Жозефина, вернется мадам или нет — я ее покидаю. Можете передать ей это от меня. Соберите мои веши. Остальное предоставляю ей. Пусть распорядится всем этим, как хочет.

— Уф! — выдохнула Жермена. — Скатертью дорожка. Она знала, что красивая девушка никогда не остается намели.

Лома ее ждала сестра.

— Ведь предупреждала я тебя, что этим кончится, — воскликнула Лут. — Нестор не желает больше тебя видеть. Когда заговаривают о тебе, он плюется.

Ну и пусть плюется, — отвечала Жермена. — Я с ним задыхаюсь. Мы с Жаком ездили в деревню. От Нестора пахнет затхлостью.

Как ты собираешься жить?

Не беспокойся, детка. К тому же Нестор — сущая липучка. Очень удивлюсь, если он не попытается вернуться.

Вернулся Озирис так скоро, что столкнулся с уходившей Луг. Жермена, успевшая прилечь, заставила его дожидаться в прихожей.

Войдя, он остановился, отвесил поклон и опустился на стул в изножье кровати.

— Дорогая Жермена… — начал он.

— Это что, тронная речь?

Он приосанился.

Дорогая Жермена, между нами все кончено, кончено. Я написал тебе письмо, в котором разрываю наши отношения. Но, зная твое небрежное обращение с письмами, я пришел прочесть

его тебе.

Знаете ли вы, — сказала она, — что вы более чем смешны?

Возможно, — не отступался Нестор, — но вы все же выслушаете мое письмо.

И достал его из кармана.

Я не стану слушать.

Станете.

Нет.

Да.

Нет.

Ладно. Все равно я его прочту.

Она заткнула уши и затянула песенку. Озирис голосом человека, привыкшего выкрикивать биржевой курс, начал:

— Безумная моя бедняжка…

Жермена прыснула.

— Мадам смеется, следовательно, мадам слышит, — заметил Нестор. — Итак, я продолжаю.

На этот раз Жермена запела во весь голос, и чтение стало невозможным. Нестор положил письмо на колено.

— Хорошо, — сказал он, — я умолкаю.

Она убрала руки от ушей.

Но только, — он угрожающе поднял палец, — предупреждаю тебя: если ты не дашь мне читать, я уйду. И ты меня больше не увидишь. Ни-ког-да.

Так ведь этим письмом ты и так разрываешь отношения.

Разрыв разрыву рознь, — промямлил этот человек, гениальный в цифрах, то есть в поэзии, и беспросветно тупой в любви, в которой никакой поэзии нет. — Я хотел разойтись по-хорошему, как положено, а ты меня гонишь.

Ладно бы я требовал от тебя отчета…

Я не обязана перед тобой отчитываться, — закричала Жермена, выведенная из себя этой комедией, — ну а если уж ты так хочешь, что ж, отчитаюсь. Да, я тебя обманывала. Да, у меня есть любовник. Да, я сплю с Жаком. — И при каждом «да» она дергала себя за косу, как за шнур звонка.

Ну, знаешь ли! — С этими словами Озирис встал и, отступив на шаг, прищурился на нее, как портретист.

И обвинил Жермену в том, что она навлекает его подозрения на смирного, услужливого мальчика, чтобы он, Озирис, гонялся за ним, пока она будет принимать своего настоящего любовника. Он добавил, что его не проведешь; да, он богат, и многие норовят от него поживиться, но быть богатым — это профессия, нелегкая профессия, которая учит разбираться в людях.

Жермена таяла от восхищения. Хоть в театре остались такого

рода персонажи, до сих пор она не верила, что они существуют в жизни.

Нестор, вы неподражаемы, — сказала она. — Я правда сплю с Жаком. Да вот (в дверь позвонили), это наверняка он. Я жду его к завтраку. Спрячьтесь и сами во всем удостоверьтесь.

Она хотела порвать окончательно.

Ага, «спрячьтесь», — фыркнул Нестор. — Больно уж просто. У вас на все есть уловки, изобразить можно что угодно. Я остаюсь здесь.

И едва хлопнула входная дверь и из прихожей донесся голос Жака, крикнул:

— Жак, мой мальчик, представляете, что выдумала Жермена?

Жак вошел.

— Она говорит, что вы с ней спите!

Соприкасаясь с Жерменой, Жак заражался ее хитростями. Он с первого взгляда сориентировался в ситуации, понял, что его любовница, обессиленная усталостью, раскололась.

— Полно, г-н Озирис, успокойтесь, — сказал он. — Вы же знаете, какая Жермена злючка. Она дразнит вас, потому что любит.

Жак, эта чистая душа, так чисто сработал, что Нестор остался с ними завтракать и распечатал коробку сигар.

Царицы Египта! Не ваши ли это маленькие мумии с золотыми поясками покоятся в богато разукрашенной коробке?

Озирис ел, курил, хохотал, потом ушел на биржу.

Жермена дулась, корила Жака за его хитрость.

Значит, ты не хочешь, чтоб я была только твоей?

Я не хочу быть виновником такого серьезного шага, которым ты когда-нибудь меня попрекнешь.

Ферма, парное молоко, свежие яйца остались где-то далеко-далеко.

Когда Лазарь приступил к брату с расспросами, Нестор похлопал его по плечу.

— Жермена оригиналка, — сказал он, — в этом ее прелесть. За ней не поспеть. Взяла и поехала к себе на ферму: стосковалась по коровам. Нашему брату, биржевым дельцам, этого не понять. Лут — та попроще, как бы это сказать… нет в ней того огонька, изюминки. Хотя, конечно, у нее есть свои достоинства. Нет, я с Жерменой не расстанусь.

Этот эпизод теперь виделся Озирису как очередное приобщение к тесному кругу посвященных. Пересуды, анонимные письма вызывали у него улыбку превосходства, словно он знал некую тайну, в силу которой Жермена могла давать сколько угодно поводов для сплетен, но это лишь украшало ее богатого

покровителя.

Эта довольно туманная тайна состояла в нестандартности его любовницы — в ее любви к природе, в увлечении собаководством.

Его спрашивали: "А где Жермена?" Он отвечал: "Я предоставляю ей полную свободу. Ее увлечения — не мое дело".

Лут была потрясена. Не обладая столь гениальной легкостью, она вынуждена была признать, что сестра показала класс.

VII

В таком виде все и оставалось: грязное белье, сигаретные пачки, старые расчески в номере гостиницы. Жаку не было нужды страдать от этого беспорядка. Он его уже не замечал. Он смотрел глазами своей любовницы, которая только так и жила с самого детства.

Скоро беспорядок пополнился новым элементом.

Вот уже три недели Жермена получала дурные вести об отце. Она его не любила и оставляла письма без ответа.

— Видишь ли, — говорила Луиза, — выходить в свет вечерами — наша профессия.

Но Жермена, считая себя более «приличной», смотрела на Луизу немного свысока, и ей представлялось, что лучше скрывать болезнь старика Рато, чтобы не стеснять своей свободы. Она даже себя почти уверила, что мать преувеличивает серьезность положения и волнуется по пустякам.

Однажды вечером, когда она переодевалась, чтобы пойти на какой-то спектакль с Жаком и Озирисом, Жак обнаружил под телефоном плохо спрятанную телеграмму: "Отец умирает срочно приезжай целую". Жермена спрятала ее, чтоб не отменять похода в театр. Жак молча указал ей на телеграмму.

— Брось, — сказала она, подкрашивая губы. Потом подвигала ртом, растирая помаду. — Поеду завтра.

Рато скончался у себя на ферме в одиннадцать вечера, во время антракта.

Последние две недели г-жа Рато читала ему "Дом купальщика", где Иглезиаса расплющивает механический потолок. У Рато эта глава перепуталась с действительностью. Он вообразил себя Иглезиасом и, в самом деле задавленный потолком своей комнаты, распластавшись на полу, свернув голову набок, чтоб оказаться как можно ниже, умер на глазах у перепуганной жены.

Рато завещал жене все, что получил от дочери, и выражал желание быть похороненным в семейном склепе на Пер-Лашез Озирис нанял в похоронном бюро фургон-катафалк.

Луг была в ссоре с матерью.

Поскольку Жермена отказывалась ехать на ферму за покойником одна, Жак выпросил на улице Эстрапад внеочередной отпуск. Нестор должен был дать им свой автомобиль, более приспособленный для трудных дорог, чем лимузин. Фургон выехал на полдня раньше.

Эта поездка на ферму не шла ни в какое сравнение с той. У

шофера было зеркальце, заменявшее ему глаза на затылке. Приходилось следить за собой.

Жермена продумывала возвращение. Мать она любила. Она возьмет ее в Париж недели на две. Этажом ниже своей квартиры она снимала еще три комнаты, служившие мебельным складом. Она распорядилась вынести часть мебели в бельевую, а часть использовать для обустройства этих комнат. У г-жи Рато будет свой уголок.

Дочь рассчитывала, строила планы и была искренне растрогана.

Неспособная притворяться, кроме как перед Нестором, она не пролила ни единой слезы об отце-пьянице, побои которого были ей слишком памятны. Она радовалась освобождению матери.

Г-жа Рато вышла им навстречу. Она плакала; в одной руке у нее был носовой платок, в другой испанский веер.

С тех пор как ей не надо было больше работать, она отрастила ногти и, не зная, куда девать руки, не выпускала из них этого веера. Фигурой она напоминала мешочек для лото. У нее было красное, с правильными и заурядными чертами лицо, цвет которого, как у английского судьи, подчеркивался белым париком.

Дочь представила ей Жака. Вдова обратила к нему взгляд человека, страдающего морской болезнью.

Гроб стоял в зале, где молодая пара завтракала во время путешествия "Вокруг света".

Жермена вела свою роль с большим тактом. Она решила, что г-жа Рато должна ехать в автомобиле, а катафалк следом.

Всякий раз, как произносилось слово «катафалк», г-жа Рато горестно покачивала головой, повторяя:

— Катафалк… катафалк.

Обратный путь был сушим наказанием. Жермена то и дело постукивала в переднее стекло, призывая шофера ехать помедленнее, чтобы г-н Рато не отстал.

Вдруг она оглянулась, посмотрела в заднее окно и вскрикнула:

— Где же он?

Сколько хватал глаз, тянулась пустая дорога. Катафалка не было.

Развернулись и поехали обратно разыскивать тело. Наконец нашли. Оно потерпело аварию на одном из проселков. Надо было менять колесо. Домкрат оказался неисправен. Жаку и шоферу пришлось взяться за работу.

Целый час они бились, ободряемые горестным покачиванием головы г-жи Рато, обессилевшей от икоты и слез, прежде чем

смогли двинуться дальше.

Хорошо хоть Жермена, которую нервировало молчание Жака, избрала такой маршрут, чтоб поскорее высадить его на улице Эстрапад, благодаря чему водители из похоронного бюро могли некоторое время тешиться иллюзией, что везут какого-то высокопоставленного покойника в Пантеон.

Траур г-жи Рато задал работы модельерам и модисткам. Жермена, находя весьма респектабельным иметь мать-вдову, выводила ее на люди. Они вместе ходили по магазинам — роскошь, которой больше всего наслаждалась г-жа Рато. Всюду она первым делом приценивалась к крепу. Накупила креповых платьев, пеньюаров, накидок, токок, капоров и косынок. Впрочем, она берегла свои траурные наряды и никогда не выходила, если ожидался дождь. Потому что, — говорила она, — креп больно линючий.

Но подобно тому как на катафалк ничтоже сумняшеся водружают яркий букет, г-жа Рато не расставалась со своим веером.

Как-то в воскресенье, когда Жермена повезла ее в Версаль, принудив Жака разделить эту повинность, безмолвие, царившее в автомобиле до самого Булонского леса, позволило ему рассмотреть веер.

На нем была изображена смерть Галлито.

Нет ничего более похожего на закат, чем коррида. Бык, изящно склонив свою могучую шею, свой широкий кудрявый лоб Антиноя, смотрит на толпу и вонзает рог в живот упавшего навзничь матадора. На заднем плане пикадор на окровавленной лошади с ребрами, выступающими, как у испанского Христа, пытается поразить пикой несообразительное животное, на загривке которого колышется букет бандерилий. На правом краю какой-то человек перелезает через ограждение, а слева, как эгинский лучник, который, говорят, стреляет с колена для того, чтобы заполнить угол, горбатый служитель уравновешивает композицию своим горбом.

Жак маялся от скуки. Он робел перед траурным крепом. У него не хватало храбрости зажать в коленях ногу Жермены.

Галлито, — тупо отдавалось у него в голове, — Гал-тал-гал-галлито, гал-гал-гал.

И это «гал» зацепило в памяти стишок Виктора Гюго:

Хотел Галл королевиных губ яда;
Хоть и лгал, королев иных губя, да
За ним дам миллион —
Хоть за Ним; да мил ли он?

Он бормотал их себе под нос, как привязавшуюся песенку.

Что ты там бормочешь? — спросила Жермена.

Ничего. Вспомнил один стишок Виктора Гюго.

Прочти сначала.

"Хотел Галл королевиных губ яда; Хоть и лгал, королев иных губя, да За ним дам миллион — Хоть за Ним; да мил ли он?"

И что все это значит?

Галл — некий человек по имени Галл; хотел королевиных губ яда — хотел целовать королеву; несмотря на то, что лгал и губил других королев, дамы были готовы идти за ним хоть за Ним.

— Не понимаю, что такое — за ним за ним?

— Город такой есть — Ним.

— А дальше что?

— Ничего, это все.

— Издевался он, что ли, этот Виктор Гюго — такую чушь писать?

— Это он нарочно: шутка такая.

— По-моему, не смешно.

— Смешно и не должно быть.

— Ничего не понимаю.

— Тут строчки на слух одинаковые, а по смыслу разные.

— Объясни получше.

— Они рифмуются не в конце, а сплошь.

— Тогда это не стихи, раз они просто одинаковые.

— Они не одинаковые, потому что смысл разный. Это такая фигура высшего пилотажа.

— Не вижу никакого высшего пилотажа. Я тебе хоть двадцать таких фигур сочиню, если достаточно повторить под ряд одно и то же и сказать, что это стихи.

— Жермена, да ты послушай; ты же не слушаешь…

— Спасибо. Я, стало быть, дура.

Ох, Жермена…

— Ладно, не будем об этом, раз я не способна понять.

— Я не говорил, что ты не способна понять. Ты сама попросила объяснить эти стихи. Я объясняю, а ты злишься…

— Я? Злюсь? Ну, знаешь ли! Да я плевала на твоего Виктора Гюго.

— Во-первых, Гюго никакой не мой. Во-вторых, я тебя люблю. Стихи дурацкие, и хватит о них.

— Только что ты говорил, что они не дурацкие. Ты их назвал дурацкими только чтоб отвязаться.

— Мы же никогда с тобой не ссорились. Неужели

переругаемся из-за такой ерунды?

— Как хочешь. Я тебя вежливо спрашиваю, а ты, видите ли, о чем-то думаешь, я тебе мешаю, и ты суешь мне конфетку, чтоб отстала.

— Я тебя не узнаю!

— Я тебя тоже.

Эта сцена, столь мелочная, первая сцена между Жаком и Жерменой, продолжалась от самого Булонского леса. Бросив "я тебя тоже", Жермена отвернулась и всю дорогу смотрела на деревья. Г-жа Рато по-прежнему обмахивалась веером.

Они прибыли в Версаль, перекусили в "Отель де Резервуар" — ни Жермена, ни ее мать не проронили ни слова.

На обратном пути Жермена нарушила молчание и самым покладистым голоском начала:

— Жак, любовь моя, эти стихи…

— Ох!

— Пожалуйста, объясни мне их.

— Вот слушай. Повторяю раздельно: Хотел — Галл — королевиных — губ — яда; — Хоть и лгал — королев — иных губя — да — За ним — дам — миллион — Хоть за Ним да — мил — ли — он?

— Ну вот, видишь, это одно и то же.

— Да нет же.

— Ты только говоришь "да нет", а вот докажи.

— Тут и доказывать нечего. Это известный пример.

— Известный?

— Да.

— Знаменитый?

— Да.

— Тогда почему я его не знаю?

— Потому что ты не интересуешься литературой.

— Ага, что я говорила? Выходит, я дура.

— Послушай, Жермена, ты не дура, совсем даже наоборот, но сегодня ты меня просто пугаешь. Ты нарочно стараешься меня напугать. Только этого еще не хватало.

— До чего же грустно мучить друг друга из-за такой глупости.

— Я тебя за язык не тянула.

— Хватит. Мне плохо. Теперь я прошу: помолчи.

Так они продолжали обмениваться уколами до самого дома. Тут г-жа Рато разомкнула уста.

— Знаете что, дети мои, — сказала она, складывая веер, — все это никак не отменяет того, что мсье Галл пользовался успехом у дам.

Это материнское изречение свидетельствовало о непогрешимом чувстве реальности.

Вообще г-жа Рато высказывалась редко, но метко. То это было: "Бедный мой муж всего за час прибрался", то — "Что вы говорите, г-н Жак? Париж назывался Лютецией? Вот новости!"

Как-то она расхваливала "прекрасную статую Генриха IV", и Жак машинально осведомился, конная ли эта статуя. Она, подумав, ответила: "Не совсем", — невзначай сотворив какого-то кентавра.

Жермена покатилась со смеху. Г-жа Рато обиделась. Жак готов был сквозь землю провалиться.

Наутро после истории с Галлом Жак проснулся в печали. Как послеоперационный больной бредит холодными напитками, как человеку с пораженным седалищным нервом, которому нельзя сидеть, чудятся стулья, так он думал о скромных женах — помощницах в мужских делах и созида-тельницах семьи. Но он перебарывал эту тягу к чистой воде, словно тягу к алкоголю.

Однажды ночью, обнимая Жермену, он шепнул ей, что хочет ребенка. Жермена призналась, что эта радость ей недоступна.

— Я бы давно уже родила, — сказала она, — если б это было возможно. В утешение развожу фокстерьеров.

По улову можно судить о червяке. Почти за каждым какой-нибудь да прячется. Бедный Жак! Большой неосторожностью было бы с его стороны меняться судьбой с благородными животными, к которым влечет его желание. А ну как почувствуешь, едва облачась в их шкуру, не только несовершенства, прежде незаметные за листвой парка или дымовой завесой бара, но и глубоко скрытую ущербность?

Эти отягчающие обстоятельства нисколько не ослабили его привязанность к Жермене. Напротив. Он жалел ее. Тем самым он жалел себя. Его любовь росла и дремала, как убаюканный младенец.

Как-то раз у Жермены случилась вечеринка-экспромт: заявилась на огонек Сахарная Пудра со своей компанией.

Сахарная Пудра имела шестьдесят лет за плечами и двадцать пять на вид. Она соблюдала режим: пила только шампанское и спала только с жокеями и профессиональными танцорами. У нее была своя опиекурильня. Там переодевались в крепдешиновые кимоно, курили, сбившись в кучу-малу на кровати, слушали, как покойный Карузо поет "Паяцев".

Это избранное общество орало, скакало, вальсировало.

Около семи все погрузились в фургон, который вел глухой, немой, слепой шофер, белый, как статуя из кокаина.

Коша Жак и Жермена зашли к г-же Рато, она сидела к ним

спиной. Двигался только ее веер.

Мама, здравствуй.

Здравствуй, доченька.

Какой-то у тебя странный голос.

Да нет… нет.

Да.

Да нет же.

Правда, г-жа Рато, у вас странный голос.

Вот и Жак заметил, с тобой что-то не так.

Ну хорошо, — сказала наконец вдова, — раз уж ты настаиваешь, не скрою, мне кажется странным, что моя дочь устраивает прием, а меня не приглашает.

Мам, ну что ты говоришь, сама подумай. Во-первых, ты в трауре (дочь забыла, что траур этот распространяется и на нее), ну а потом, не могу же я знакомить тебя с м-ль Сахарной Пудрой.

Эта оригинальная мотивировка дала Жаку ключ к некоей потайной дверце. Ибо, подобно тому как дама держит в руках журнал, на обложке которого изображена та же дама с тем же журналом, на обложке которого… и картина повторяется до тех пор, пока масштаб не кладет ей предел, но и за этим пределом предполагается незримое продолжение — так, когда мы думаем, что достигли дна определенного социального слоя, остается еще множество возможностей применить изречение какого-то короля: "Я стою дальше от моей сестры, чем она — от своего старшего садовника".

Жак все это принимал. Он слишком безоглядно жил своей любовницей, чтоб судить ее поведение или ее семью. Теперь уже его темная сторона извергает, подобно каракатице, чернильные облака на светлую сторону. Она, прежде посылавшая ему помощь, мало-помалу ослепляет его.

Луиза пользовалась Махеддином, а Махеддин Луизой. Этот безлюбый обмен развлекал их. Одновременно с драмой Жака и Жермены они разыгрывали скабрезную увеселительную пьеску.

Луиза получала чеки от одного иностранного принца. Ему предстояло царствовать и редко удавалось покидать пределы своих будущих владений. Он бывал на тех конференциях в Лондоне, где собираются великие мира сего. После чего проводил две недели с Луизой. Он рассказывал ей о секретных делах Европы и о ребячествах собранных под одной крышей королей — как они разыгрывают друг друга, меняя местами ботинки, выставленные за дверь. Он ей даже писал, и г-жа Сюплис часто говорила своим голосом ясновидицы: если когда-нибудь монсиньор бросит Луизу, она передаст его письма за границу. Удивляюсь, как это монсиньор решается писать такие веши. Она

им даст ход. Он у нее в руках.

В общем, Луиза была свободна все время, кроме критических моментов мировой политики.

Пятнадцатого числа каждого месяца офицер с синими усами являлся на улицу Моншанен, щелкал каблуками и вручал ей конверт.

Махеддин любовался его мундиром через окошечко туалетной комнаты.

Однажды в шестом часу утра Махеддину, одевавшемуся, чтобы присоединиться к Жаку у метро, взбрело на ум пошутить. Луиза спала. На ночном столике стояла коробочка, куда она клала мелкую монету и кольца. Шутка, не слишком остроумная, состояла в том, чтоб со звоном бросить в кучку монет еще одну и разбудить таким образом спящую игрой "парочка в дешевых номерах".

Сон обладает собственным космосом, собственной географией, геометрией, хронологией. Бывает, он переносит нас в допотопные времена. Тогда мы вспоминаем таинственную науку моря. Мы плаваем, а кажется, будто летаем безо всякого усилия.

Воспоминания Луизы так далеко не заходили. Звон монеты извлек ее из менее глубоких слоев сна.

— Постав, — вздохнула она, — оставь мне на что позавтракать.

То был вздох десятилетней давности.

Махеддина это умилило и позабавило. Он шел один по пустынным улицам и смеялся. Жак уже поджидал его. Махеддин рассказал, что может всколыхнуть в сонном омуте падение монеты.

Бедняжка, — сказал Жак, — не рассказывай ей.

Вечно ты все драматизируешь, — воскликнул Махеддин. — Так нельзя. Только жизнь себе отравляешь.

В метро Жак обнаружил, что забыл свои наручные часы. Ни в этот, ни в следующий день он не виделся с Жерменой, а на третий решил забежать на улицу Добиньи в десять утра и забрать их.

Г-жи Сюплис в привратницкой не было. Он повернул ключ в двери, миновал прихожую, распахнул дверь. И что же он увидел? Жермену и Луизу.

Они спали, сплетясь, как буквы монограммы, и даже так чудно, что непонятно было, где чьи ноги и руки. Представим себе даму червей без одежды.

Перед этими белоснежными телами, разбросанными по простыням, Жак остолбенел, как Пьеретта над пролитым молоком. Убить их? Нелепость, к тому же плеоназм: казалось

невозможным сделать этих мертвых еще мертвее. Только чуть шевелились приоткрытые губы Жермены, а у Луизы подергивались ноги, как у спящей собаки.

Поразительнее всего была естественность этой картины.

Можно было подумать, что откровенное бесстыдство празднично украшает этих девушек. Возвеличенные пороком, они обретают в нем отдохновение.

Откуда всплыли эти две утопленницы? Вне всякого сомнения, издалека. Волны и луны играли ими от самого Лесбоса, чтобы выложить напоказ здесь, в пене кружев и муслина.

Жак очутился в таком дурацком положении, что решил уйти, чтоб и следа его не заметили. Но как Иисус воскресил грешника, его присутствие воскресило Луизу.

— Мам, это ты? — спросила она, протирая глаза. Открыв же их, узнала Жака и толкнула Жермену.

Надо было улыбаться — или ударить. Жак выдавил:

Что ж, все ясно.

Что тебе ясно? — закричала Жермена. — Ты бы предпочел, чтоб я обманывала тебя с мужчиной?

Женщина ее класса, если все еще любит, подыскивает подходящую ложь. Но она, сама того не понимая, уже не любила. Воскресенье на ферме минуло, огонь под котлом угас, и ее сердце долюбливало лишь по инерции.

— Молодой ты еще, — заключила Луиза, зевая.

Жак забрал свои часы и унес ноги.

Осознание собственной глупости пришло к нему уже у Берлинов. После личного взбрыка он вновь смотрел на все глазами Жермены. Он поделился своим открытием с Махеддином, которому давно были известны "отношения подруг.

— Да брось ты, — сказал тот. — Законы морали — это правила игры, в которой каждый плутует, так уж повелось, с тех пор как мир стоит. И ничего тут не изменишь. Ступай к четырем на скейтинг, составь им компанию. У меня урок.

Зайду за вами в шесть.

Жак побрился, полюбовался близоруким портретом, поздравил себя с тем, что у него только и соперников, что Озирис да Луиза, сдул греческий перевод и побежал на скейтинг. Там давали гала-концерт — бенефис какого-то музыкального произведения.

VIII

Зал был битком набит. Даже во время пауз в ушах стоял вулканический рокот роликов по бетону. По очереди играли негритянский оркестр и механический орган. Негры перебрасывались трубными звуками, словно кусками сырого мяса. Около органа, извергавшегося из-за картонного крылечка, за столиком сидела дама в трауре и писала письма. Она меняла валики. Невеселая толпа кружила на месте, и каждому казалось, что вокруг него пустота. В подвальном помещении красовался чудесный тир, разукрашенный курительными трубками, красными мишенями, вереницей зайчиков, пальмами и зуавами. Фонтан с пляшущим на струе яйцом заменяла клумба тюльпанов, которые сшибали стреляющие. Дама, заправляющая тиром, наклонялась и восстанавливала цветение. Мужчины в свитерах катали шары. Наверху эта игра отзывалась в перерывах музыки стуком сапожной колодки, швыряемой об стены.

С хоров, вознесенных над залом, два американских моряка с беснующимися от вентиляторов ленточками склоняли над бездной профили Данте и Вергилия.

Все было украшено флажками и лампочками.

Номер представлял собой ретроспективу канкана. Восемь женщин — пережитки золотого века — изображали сущее землетрясение в курятнике под ритмы Оффенбаха.

То ничего и не разглядеть было, кроме их черных ляжек в некоем Пале-Рояльском постельном хаосе; то они со всего маху выбрасывали ноги ввысь, словно пробку от шампанского, и пена нижних юбок заливала их с головой. Само рождение Венеры не взбило бы столько пены.

Этот танец задевает за живое парижанина не меньше, чем коррида — испанца. Он завершается двойным шпагатом, просвечивающим карточным домиком, сквозь который, преломив свой восковой бюст, улыбается старушка Эйфелева, расколотая надвое до самого сердца.

Несмотря на толчею, Жак нашел девушек, успевших занять места. Его все еще преследовал их давешний образ многорукого индусского божка. Приходилось делать над собой усилие, чтобы разъединить их.

— Озяб? — сказала Жермена. — Держи стакан.

Жак счастлив был ухватиться губами за соломинку, через которую пила Жермена; вдруг столик содрогнулся от мощного толчка в ограждение площадки. Две красные руки ухватились за плюшевый барьер. Жак поднял глаза. Это был Стопвэл.

Добрый день, Жак! Извините. Я тут катался. Увидел вас. Как снег на голову, да? Я не знал, что вы сюда захаживаете.

Но, — Жак силился перекричать орган, из-за которого трудно было расслышать друг друга, — как же я вас-то ни разу не видел, если вы здесь бываете?

Я катаюсь в другом месте. Сегодня я тут по делу.

Он скрылся из виду.

Кто это? — спросила Жермена.

Англичанин, тот самый злодей из "Вокруг света".

Пригласите его, — сказала Луиза, — а то он один; вы даже не предложили ему посидеть с нами.

Так вот и собираются тучи, холодеет воздух, пригибаются растения, и перламутровый отблеск приструнивает воду.

Жак сходил за Стопвэлом, и Стопвэл пришел и сел между Жерменой и Луизой.

Как говорит Верлен у Люсьена Летинуа: "Он был чудесным конькобежцем". Его наряд составляли «никербокеры» — английские бриджи прелестного покроя, свободно болтающиеся на ляжках и застегивающиеся у колена, шотландские гольфы, рубашка с отложным воротником и полосатый галстук его клуба. Его фация, его непринужденность поразили Жака.

Он привык видеть его в пансионе Берлина, а сейчас, как живописное полотно, которое не производит особого впечатления без рамы, без надлежащего освещения, и обретает силу лишь окантованное, висящее на стене под ярким светом, — так Стопвэл на скейтинге предстал в новом измерении.

Жермена завела речь о мужской элегантности. Уязвленный Жак заявил, что все англичане элегантны по установленному образцу и что французская элегантность выше хотя бы в силу своей исключительности. Он привел в пример экстравагантные наряды некоторых членов Жокей-клуба, очаровательная странность которых делала каждый единственным в своем роде. Ему хотелось донести до собеседников изысканность покойного герцога Монморанси, когда он в изношенном, запятнанном костюме садился за столик, не снимая шапокляка.

Он бьет мимо цели. Надвигающаяся беда лишает человека всякой сноровки.

Стопвэл соглашается с ним. Стопвэл поддерживает беседу. Не скрывает своих ошибок во французском. Впервые он действительно разговаривает. У Берлинов он до этого не снисходит.

Он говорит об Англии. Это моряк, говорящий о своем корабле. Жак справедлив; он видит в этом благородство. Со своей крайней правой позиции он отвешивает поклон. Голова его

никнет.

Теперь Стопвэл уничтожает его косвенным ответом. Он говорит об элегантности. Он перебивает свою речь трогательными «знаете» — жуткими, как его рукопожатие.

— В Лондоне, знаете, есть настоящая элегантность, — говорит он. — Напротив Рампельмейер, например (обращаясь к дамам), лавочка шляпника Локка. Очень черная и очень маленькая; такая маленькая, что приказчики заколачивают ящики на улице. Весь уголь Англии (и у Стопвэла прорезаются интонации леди Макбет, произносящей знаменитую фразу — "Все ароматы Аравии"), весь уголь Англии создал этот маленький алмаз. В… витрине — так, кажется, по-вашему — можно разглядеть старые, очень старые головные уборы вековой давности, побелевшие от пыли. М-р Локк никогда их не чистит. И когда лорд Рибблсдэйл примеряет шляпу, тогда, знаете, это великолепно.

Он скандирует это «великолепно» и нажимает на «ве» и «ли», зарывая руки в карманы, набитые никелированными цепочками и ключами. Женщины молчат.

Жермена впитывает его слова. Глаза ее затуманены. Жак в смятении, ибо, сросшись с этой женщиной, которая без всякого перехода отрывается от него, он видит себя умаляющимся по мере того, как она удаляется. Подобно башмачнику из "Тысячи и одной ночи", он возвращается в свой первоначальный облик. Он вновь становится тем, чем был до их любви.

Эта пытка, физическая и моральная, выше его сил.

— Что с вами, Жако, дружочек? — спрашивает Луиза. — У вас губы дрожат.

Но Жермена уже не слышит ни вопроса, ни ответа.

— Хоп! — командует Стопвэл, вставая на свои ролики, — пошли кататься.

Жермена поднимается и идет за ним, как рабыня.

Жак смотрит на площадку. Она вытягивается и изгибается в кривых зеркалах Музыка тоже меняется, как это бывает, когда слушаешь оркестр, то затыкая, то отпуская уши. Он видит Питера и Жермену — двух монахов Эль Греко. Они удлиняются, зеленеют, подымаются в небо, бездыханные, в молниях ртутных ламп. Потом кружатся далеко-далеко: приплюснутая карлица-Жермена, Стопвэл, превратившийся в кресло эпохи Луи-Филиппа, взбрыкивающее толстыми ножками вправо-влево. Бар кренится, как палуба. Лицо Луизы наплывает крупным планом, как в художественном фильме. Она шевелит губами, а Жак не слышит ни слова.

Он больше не обогащен, не наполнен Жерменой. Он ощущает

свои кости, ребра, свои желтые волосы, свои неровные зубы, свои веснушки — все, что ему ненавистно и что он успел забыть.

Под прожекторами вальса, который душит Жака, Стопвэл под руку с Жерменой катится на одной ноге через всю площадку в позе возничего. Стопвэл выпячивает грудь. Он воображает себя Ахиллом. На какую-то секунду он представляется Жаку нелепым, и возникает наивная надежда, что вот сейчас Жермена это заметит, убежит, вернется сюда одна, признается, что все было шуткой.

Луиза не жестока, но она женщина. Ей вспоминается свое. Она снисходительно наблюдает за жертвой.

Появляется Махеддин. Луиза подмигивает, делает рот подковой и указывает движением подбородка на вальсирующую пару.

На эту мимику Махеддин отвечает мимикой же, выпятив нижнюю губу, наклонив голову и закатывая глаза.

Отрубленная голова Жака скатывается на грудь.

— Уведи его, — говорит Луиза своему любовнику. — Он того гляди в обморок упадет.

Жак отказывается. Он не из тех, кто уходит. Он из проклятой расы тех, кто остается, кто допивает последнюю каплю.

Вальс кончается. Жермена и Стопвэл направляются к столику, цепляясь за стулья и посетителей. Жермена падает на какую-то толстую даму. Смеется. Лама возмущается. Стопвэл пожимает плечами. Муж дамы встает. Лама успокаивает его и усаживает обратно.

Жак угадывает сцену в общих чертах. Все это как-то не в фокусе.

Луиза тем движением подбородка, каким на похоронах предупреждают чересчур болтливого друга, что прямо перед ним стоит один из родственников усопшего, указывает Жермене на страдальца.

— Ничего, переживет, — говорит та.

Слова эти были гуманны — в том смысле, в каком закон признает актом гуманности выстрел в упор, которым офицер добивает расстрелянного, еще подающего признаки жизни.

— Сигарету? — предлагает Стопвэл.

Чарующая внимательность заплечных дел мастера.

Отзвучали заключительные такты; они вышли на улицу. Сели в автомобиль Жермены. Жак, вскидываясь, бессильно мотаясь, смутно различал окружающее. Чей-то профиль: Махеддин, Одеон, афиши, Люксембургский дворец, таверна Гамбринус, фонтан. Подвозили Стопвэла.

Автомобиль остановился около Пантеона. Стопвэл вылез,

Жермена окликнула Жака, продолжавшего сидеть:

— Ты что, уснул? Приехали.

Он что-то забормотал, выскочил из машины, молча дошел до дома со Стопвэлом. Махеддин отправился к Луизе.

Питер ушел в свою комнату, Жак — в свою. Там, упав на колени у кровати, он выплеснул слезы, которые стояли у него между ресниц водяными линзами и превращали мир в гротеск.

Жак не представлял, как он сможет жить дальше — вставать, умываться, учиться — с этой мукой, немыслимой, а всего-то, кажется, час как длящейся. Он с извинением отказался от обеда и лег. Он надеялся, что сон даст ему передышку.

Сон нам не подчиняется. Это слепая рыба, всплывающая из глубин, птица, камнем падающая на нас.

Он чувствовал, как рыба плавает кругами вне пределов досягаемости. Птица, сложив крылья, сидела на краю бессонницы, крутила шеей, чистила перья, переступала с ноги на ногу и внутрь не шла.

Жак-птицелов затаил дыхание. Наконец птица решилась, взмыла, скрылась, и Жак остался наедине с невозможным.

Невозможно. Это было невозможно. Сердце Жермены набрало такую скорость, что Жак никак не мог уловить перехода.

Он сам видел, как лицо, только что бывшее здесь, в одну секунду оказалось за несколько километров. Сам ощутил безответность руки, еще вчера искавшей его руку. Сам поймал вместо ласкающего взгляда — придирчивый.

Он твердил про себя: это невозможно. Стопвэл презирает женщин, а остальное — притворство, оксфордское пижонство. Он девственник. Он кривится, если речь заходит о физической любви. "Это не принято, — говорит он и добавляет, — как вообще можно с кем-то спать?"

Лаже если Жермену обуяла новая прихоть, она уводит в пустоту.

Стопвэл остерегается Франции. С того берега Ла-Манша на него глядят его отец-пастор, его футбольная команда, его товарищи по клубу. Тревога ложная: последствий не будет.

Внезапно у него тяжелеют веки. Челюсти смыкаются. Птица попалась в ловушку, рыба — в банку. Он спит.

Он видит сон. Ему снится, что это не сон, а Стопвэл, одетый в шотландскую юбочку, хочет уверить, что сон. Потом он едет на роликах — и летит. Он летит вокруг скейтинга, на котором растут деревья. Стопвэл пытается унизить его, говорит Жермене, что он не летает, что это ему снится. Жермена подпрыгивает рядом со Стопвэлом, помогая себе зонтиком. Этот зонтик у них вместо парашюта. Юбка Стопвэла становится очень длинной,

даже со шлейфом.

Жермена поет под аккомпанемент церковного органа "Безмолвное Гонорато". Это бессмысленное название во сне имеет какой-то смысл.

Жак падает. Он приземляется на дно простынной норы. Он проснулся. Слышно, как укладывается Махеддин. Значит, уже утро. Он засыпает снова. Опять скейтинг. Площадка вращается. За счет этого и создается впечатление, что Стопвэл скользит по ней. Жак раскрывает Жермене этот обман. Она смеется, целует его. Он счастлив.

Дружок тормошит его — пора на урок. Он встает, ополаскивает лицо холодной водой.

Одно за другим, как солдаты по тревоге, его уснувшие воспоминания просыпаются и строятся в ряд. И вчерашний скейтинг в свой черед. Но едва он становится в строй, остальные уменьшаются. Один он растет, раздувается, превращается в колосса.

Смертельно раненный может жить, не осознавая своей раны, пока в ней торчит нож. Стоит его вынуть — потечет кровь, и заработают законы плоти.

Холодная вода убрала нож.

Жак решает бежать к Жермене, хоть она и спит еще в этот час, чтоб его поцеловали, поругали, залечили его рану.

В момент пробуждения в нас мыслит животное, растение. Мысль первобытная, ничем не прикрашенная. Мы видим страшный мир, ибо видим то, что есть. Чуть погодя разум засоряет нам взгляд своими ухищрениями. Он преподносит маленькие безделки, игрушки, которые человек изобретает, чтобы скрыть пустоту. И нам кажется, что вот теперь-то мы видим верно. Неприятные ощущения мы относим на счет эманации мозга, перестраивающегося со сна на явь.

Жак успокаивал себя. Урок начинался в девять. Он обменялся рукопожатием с Питером. В десять поймал автомобиль, купил по дороге цветов и явился к Жермене.

Удивленная Жозефина открыла дверь. Жермена еще спала.

— Я ее разбужу, — сказал он.

Жак вошел. Жермена, сном унесенная вспять, являла свое прежнее лицо. Он узнавал каждую черточку, любуясь и радуясь. Он приложил к ее щеке свежие цветы.

Она была из тех, кто чутко спит и просыпается сразу.

— Это ты? — сказала она. — С ума, что ли, сошел — будить людей в такую рань!

— Не мог выдержать, — отвечал он. — Мне приснился сон, будто ты меня бросила. Поймал автомобиль…

Жермена не боится разбивать сердца. Она разделяет убеждение прислуги, что всякую драгоценную вещь, если она и разобьется, можно склеить.

— Это был не сон, дружочек. Забери свой букет. Я играю по-честному. Я люблю Питера, и он меня любит. Ты себе еще найдешь дюжину не хуже меня. Иди, я спать буду.

Она отвернулась к стене. Жак лег на пол и разрыдался. — Слушай, — отрезала Жермена, — тут тебе не больница. Терпеть не могу, когда мужчина плачет. Ступай к себе на Эстрапад и занимайся. При таком образе жизни к экзаменам не подготовишься.

Жак умолял. Ее облекал непроницаемый парафиновый слой, противогаз тех, кто уже не любит.

Она мерила любовь Жака по своей, полагая, что все должно обойтись однодневным кризисом.

— Жозефина, принесите г-ну Жаку коньяку.

Сейчас она была как дантист, который знает, что удаление зуба чрезвычайно болезненно, но если и вызывает потрясение организма, то ненадолго.

Жак, подчиняясь ей, выпил. Жозефина помогла ему встать, подала шляпу, трость и выпроводила его, опять же, как ассистент дантиста. Ассистенту известно, что такое послеоперационный шок, но надо впускать следующего клиента, который и так заждался.

С этой минуты жизнь Жака помутилась, как колесо опрокинутого велосипеда, как фотографическая пластинка, если открыть аппарат.

Будь с ним поласковее, — твердила мужу г-жа Берлин, — он страдает.

Отчего?

— Не спрашивай. Женщины чувствуют такие вещи. Ибо она продолжала сочинять свой роман. Махеддин по-прежнему встречался с Луизой, его уходы и приходы раздирали Жаку сердце. Это соседство было ему плохим утешением.

Ждать — самое кропотливое занятие. Мозг, словно улей в день роения, пустеет, в нем не остается ничего, кроме составляющих некой безрадостной работы. Если наши суетные чувства пытаются этой работе помешать, пчелы боли парализуют их. Надо ждать, ждать, ждать; машинально питаться, чтобы снабжать энергией фабрику ложных звуков, ложных расчетов, ложных воспоминаний, ложных надежд.

Что делал Жак? Ждал.

Чего он ждал? Чуда. Какого-нибудь знака от Жермены, письма.

Лежа на кровати — сердце узлом, вроде тех морских узлов, которые стягивают или распускают, дергая за веревку, — он караулил двери парадного, почтальона, разносящего письма по этажам.

Он наколдовывал звуки — в подъезде, на лестнице. В коридоре эти явственные звуки гасли.

Случалось ли ему выйти — он боялся возвращаться. Он спрашивал консьержку:

Мне не было писем?

Не было, г-н Форестье, — отвечала она.

Тогда он думал, что консьержка могла не заметить почтальона. Он считал до двенадцати на каждой ступеньке. Его суеверному сознанию представлялось, что за это время письмо может само собой возникнуть на столе.

Однажды утром он его получил. "Приходи в пять часов к Луизе, — писала Жермена, — надо поговорить".

Он поцеловал письмо, сложил, спрятал вместе с близорукой фотографией и не расставался с ним даже в дальнейшем.

Как дотерпеть до пяти?

Он слонялся, разговаривал, неумело убивал время, которое мастерски убивало его.

Стопвэл избегал его, они встречались только за столом. Махеддин счел его поведение признаком выздоровления, г-жа Берлин — героизма. Ее отношения с Жаком представлялись ей подобием любви герцога де Немура и принцессы Клевской.

В четыре часа Жак отправился на улицу Моншанен.

Обе женщины были там. Луиза делала вид, что всецело занята полировкой ногтей. Жермена расхаживала по комнате. У нее была новая прическа, открывавшая уши, в ушах серьги, новое лицо, костюм в черную и бежевую клетку, которого Жак раньше не видел.

Садись, — сказала она. — Ты знаешь, что я человек откровенный. Есть, конечно, женщины, которые отпирают ся и виляют, но я не из таких. Стопвэл не хочет… — она подчеркнула: не хочет, — чтобы мы были вместе, пока не поставим тебя в известность и не получим твоего согласия. Честно говоря, не много я видала друзей, которые бы так поступили в подобном случае. Сегодня мы с ним обедаем в Энгиене. Ну так как — да или нет?

Ну же, ну, Жак, миленький, — подбодрила Луиза, от рываясь от своего маникюра, — сделайте красивый жест. Нельзя сказать, чтоб она была недовольна. Этот "красивый жест" разозлил Жака. Он нашел в себе силы ответить:

— Красивых жестов, Луиза, не бывает. Только министры и

дамы-патронессы делают красивые жесты. Я откланиваюсь. Нельзя мешать двум любящим сердцам.

Даже под ножом гильотины остается надежда, поскольку, если механизм заест, правосудие дает помилование. Жак еще надеялся, что его великодушие тронет Жермену и возвратит ее к нему.

Пожмем друг другу руки, — сказала она.

Он узнал английское рукопожатие.

Чаю? — спросила Луиза.

Нет, Луиза… нет. Я пойду.

Он закрыл глаза. В них отпечаталось платье Жермены, и под веками его шахматный рисунок стал красным, медленно проплыл вправо, вновь возник слева и проплыл опять.

На улице Эстрапад Жак постучался к Стопвэлу.

— Стопвэл, — объявил он, — Жермена мне все сказа ла. Она свободна.

Понял ли это Питер так, что она сказала и впрямь все — или воспользовался случаем, чтоб нанести последний удар?

— Мы же джентльмены. Поверьте, я и не подозревал, что в комнате Мариселя — женщина. Я услышал, что там кто-то возится. Думал, Дружок.

После этих не поддающихся пониманию слов Жак оказался в коридоре, как водящий при игре в жмурки, когда его хорошенько закружили.

Махеддин уходил. Жак перехватил его и взял в оборот. Он узнал, что в вечер появления Жермены на улице Эстрапад, во время священнодействия с часами, Стопвэл, оповещенный Дружком, заглянул в комнату Мариселя и извинился. Жермена удержала его, сказала, что ждет Жака, расспросила об остальных пансионерах, о занятиях, об английских колледжах. Стопвэл заметил, что во французских коллежах не хватает спорта, и спросил, занимается ли спортом она. Она сказала — нет, не занимается. Только катается на роликах. И объяснила, где.

— Все, исчезаю, — воскликнул Стопвэл, — пока не вернулся Форестье. Он, знаете, мнителен. Может подумать, что я зашел нарочно. Обещайте не говорить ему, что я открывал эту дверь.

Жак вспомнил свои шутки, англичанина из "Вокруг света".

Он вернулся в свою комнату. На самом чистом его воспоминании оказалось пятно.

И вот он там, где мы застаем его в начале этой книги. Он вскидывается. Упирается. Снова ставший Жаком, он глядится в зеркало.

Зеркало — не водная гладь Нарцисса; в него не нырнешь. Жак утыкается в него лбом, и дыхание его скрывает бледное,

ненавистное ему лицо.

Как черные очки, так и меланхолия гасят краски окружающего мира; но сквозь них можно смотреть, не отводя глаз, на солнце и смерть.

Так что он, не жмурясь, рассмотрел самоубийство, как экзотическое путешествие. Такие путешествия кажутся нереальными. К ним еще надо себя подготовить.

Жака страшила безобразная смерть. Ему виделся тот журналист в Венеции, позеленевший и распухший. Вспоминался самоубийца на берегу Сены с размозженными висками, с колышущимися в воде ногами танцора.

На днях доктор, жилец с пятого этажа, сокрушался о том, как много народу умирает от наркотиков. Он рассказывал, как одна из его пациенток позвонила ему ночью, почти обезумевшая. Ее любовник, которого она считала спящим, оказался мертвым. Он принял слишком большую дозу.

Доктор приехал, одел мертвеца, в обнимку перетащил его в машину и отвез в клинику с не слишком строгими порядками, чтобы спасти эту замужнюю женщину, погасить в зародыше скандал, затрагивающий известное в деловых кругах имя.

Жак решается.

Около одиннадцати утра он отправился на скейтинг. Пустынный зал переводил дух. Бармен протирал стойку. Жак поздоровался с ним и, краснея, начал:

Вы знаете, сам я никогда не употребляю…

Да, г-н Жак, — отозвался бармен, знающий наизусть эту вступительную фразу новичков.

У вас есть?.. Мне для одной русской.

Бармен зашел за кассу, вытянул шею, проверяя, одни ли они, снял с полки трехлитровую бутылку шампанского, отвинтил фальшивое дно и спросил:

Сколько вам? Четыре грамма? Двенадцать?

Десять, пожалуйста.

Бармен отсчитал десять пакетиков по двадцать франков каждый, спрятал деньги и посоветовал соблюдать крайнюю осторожность.

— Можете на меня положиться, — заверил Жак, сунул порошки в карман, пожал ему руку и покинул скейтинг.

Сокращая путь к выходу, он пошел через площадку. Эта площадка была его Гревской площадью. Она укрепила его решение.

Он вернулся домой спокойный, как тот, кто, запасшись билетом и плацкартой, может больше не забивать себе голову скучными мелочами предстоящего путешествия.

IX

Каким бы классом мы ни ехали, всех нас вместе жизнь на той же огромной скорости, в одном и том же поезде мчит к смерти.

Мудрее всего было бы спать всю дорогу до этой конечной станции. Но увы, езда завораживает нас, и мы проникаемся столь неумеренным интересом к тому, что должно бы всего лишь помочь нам скоротать время, что в последний день нам трудно уложить свой чемодан.

Всего-то из-за коридора, который связывает разные классы, незаконно сближая и смешивая две души, сознание, что конец пути или высадка кого-то одного на промежуточной станции неминуемо разрушит идиллию, делает мысль о прибытии невыносимой. Хочется долгих остановок в чистом поле. Глядишь в окно, которое телеграфные провода превращают в неумелую арфистку, вновь и вновь разучивающую одно и то же арпеджио.

Пытаешься читать; все ближе конец пути. Завидуешь тем, кто за минуту до смерти, подобно Софоклу, не забывшему о парикмахере для Федона и о петухе для Эскулапа, без паники приводят в порядок свое хозяйство.

Жак, не снеся одиночества, выбрасывается из поезда на полном ходу. Или, быть может, водолаз, задыхающийся в скафандре человеческого тела, хочет снять его. Он нашаривает сигнальный трос.

Он разделся, написал несколько строчек на отрывном листке блокнота, положил его на видное место и распечатал пакетики с порошком.

Он аккуратно ссыпал их содержимое в пустую сигаретную пачку. Порошок искрился, как толченая слюда.

На полке у него всегда стояли — привычка, заимствованная у Стопвэла — бутылка виски, сифон и стакан. Он налил виски, размешал в нем порошок и залпом выпил. Потом лег.

Вторжение свершилось со всех сторон сразу. Лицо его отвердело. Ему вспомнилось подобное же ощущение, испытанное когда-то у дантиста. Он трогал онемевшим языком незнакомые зубы, торчащие в чем-то деревянном. Летучий холод хлорэтана сушил глаза и щеки. Волны мурашек пробегали по телу и останавливались вокруг бешено колотящегося сердца. Эти волны накатывались и откатывались от мизинцев ног до корней волос, подражая слишком тесному морю, которое все время забирает у одного пляжа то, чем наращивает другой. Место волн заступал смертный холод; он переливался, исчезал и возникал, как узоры муара.

Жак ощущал на себе груз веса пробки, веса мрамора, веса снега. Это ангел смерти совершал свою работу. Он ложится всем телом на того, кто сейчас умрет, и ловит его на малейшей рассеянности, чтобы обратить в статую.

Этот ангел — посланец смерти, вроде тех чрезвычайных посланников, что вступают в брак вместо принцев. Соответственно делают они это бесстрастно.

Массажиста не взволнует прикосновение к женскому телу. Ангел работает — холодно, жестоко, терпеливо — вплоть до спазма. Тогда он улетает.

Жертва чувствует, как он неумолим, подобный хирургу, дающему хлороформ, удаву, который, чтобы заглотать газель, медленно, постепенно расслабляется, словно рожающая женщина.

"Снежный человек… снежный человек…". Невнятный повтор завораживал его слух. Есть песочный человек, про которого говорят детям, когда они упрямо засиживаются вечером со взрослыми и оступаются в простодушный сон. Подбородок тычется в грудь и пробуждает их, и они, как встрепанные, выныривают на поверхность.

Жаку слышался какой-то голос, проговаривающий: "Снежный человек… снежный… снежный… " Не следовало на это попадаться, и Жак плыл на спине, запрокинув голову, лишь по оглохшие уши погруженный в неведомую субстанцию. Ибо в работе ангела ужасно было то, что, не подчиненная никакому порядку, она совершалась сверху, снизу, изнутри. Эта работа не была грубой; ангел делал передышку и возобновлял ее с прежним усердием.

Между решением утопиться, осуществлением его и сюрпризами, которые оно преподносит организму — пропасти, и какие! Сколько малодушных, едва вода зальет им ноздри, принимаются плыть или, если плавать не умеют, отчаянно изобретают способы удержаться на воде!

Жаком овладевал страх. Ему хотелось молиться, сложить руки как следует. Руки были неподъемные, нетранспортабельные.

Мертвая рука, отлежанная во сне, быстро наливается шипучей сельтерской; она пузырится и становится послушной. Руки Жака оставались безжизненными.

Движения, совершаемые аэропланом, не воспринимаешь, сидя внутри. Сам аппарат неподвижен. Пассажир, замурованный в шлеме и очках, видит домики, которые уменьшаются или растут, мертвый город, рассеченный рекой. Этот город качается или вертикально воздвигается настенной картой. Внезапно мы видим его у себя над головой. Этой игре вселенной вокруг пилота сопутствует страх. Сводит живот. Закладывает уши.

Головокружение пронизывает грудь, как проволока — брусок масла. Бывает, что приземляются, думая, что летят на тысячеметровой высоте: пилот принял вереск за лес.

Жак, распростертый на кровати, начинал путать собственное состояние с явлениями внешнего мира. Стены дышали. Бой часов доносился то из чернильницы, то из шкафа. Окно было то ли закрыто, то ли распахнуто в звездное небо. Кровать плыла, кренилась, колебалась в неустойчивом равновесии. Он падал и медленно подымался.

В мозгу у Жака прояснилось, несмотря на пчелиный гул. Он увидел Тур, свою несчастную мать — она распечатывает телеграмму и каменеет; отца, собирающего чемодан.

"Вот и конец, — подумал он. — Смерть показывает нам всю нашу жизнь". Но больше он ничего не видел. Лицо матери изменилось. Теперь это была Жермена. Не то Жермена, не то мать. Потом одна Жермена, которую мучительно трудно было собрать в памяти. Он путал ее губы и глаза с глазами и губами какой-то англичанки, мельком виденной в казино Люцерна и привлекшей его желание. И все поглотил эдельвейс. Он рассматривал в лупу эту морскую звездочку из белого бархата, произрастающую в Альпах. Ему было девять лет. Пришлось пропустить поезд на Женеву, потому что он топал ногами и требовал, чтоб ему купили такой цветок.

— Воспоминания… — твердил он. Вот и воспоминания.

Но он ошибался. Эдельвейсом сеанс закончился.

Ночные звери прячутся днем; пожар выгоняет их из укрытий. Окончание корриды перемешивает публику с солнечной и теневой стороны; наркотическая буря перемешала в Жаке его темную и светлую стороны. Он смутно ощущал какую-то гнусность, какое-то бедствие, не относящееся к физической драме. Он не помнил ни о своем растраченном сердце, ни о беспутных ночах; он выблевывал их, как пьяный, не удержавший в желудке вино, которое сам не помнит, где пил.

Жак подымается. Он покидает собственные пределы. Он видит изнанку всех карт. Он не разбирается в системе, которую сейчас колеблет, но предчувствует, что понесет за это ответственность. В ночи человеческого тела есть свои туманности, свои солнца, земли, луны. Разум, уже не столь рабски зависящий от косной материи, догадывается, до чего же прост механизм мироздания. Будь это не так, его бы заедало. Он прост, как колесо. Наша смерть разрушает миры, которые в нас, а миры окружающего нас неба — внутри какого-то существа неимоверной величины. А что же Бог — в Нем вообще все? Жак падает обратно.

Рассуждения такого масштаба не редкость при наркотических отравлениях. Многим посредственностям они внушают иллюзию великого ума. Те воображают, что разрешили мировые проблемы.

После недолгого затишья муаровые переливы, озноб, судороги возобновились. У Жака оставалось все меньше и меньше сил для борьбы. Родники пота пробились по всему его телу. Сердце еле билось. Он ощущал это биение тем слабее, чем неистовей оно было совсем недавно.

Ангел уложил его на лопатки. Он тонул. Вода поднялась выше ушей. Эта фаза длилась нескончаемо.

Жак больше не сопротивлялся.

— Вот так… вот так… — приговаривал ангел, — видите, совсем немножко осталось… не так уж это трудно…

Жак отвечал:

— Да… да… совсем не трудно… совсем… — и безропотно ждал.

Наконец, словно торпедированный корабль, который становится тяжелым, как дом, оседает и кособоко погружается в море, Жак пошел ко дну.

Он не умер.

Ангел получил неведомо какой контрприказ.

Дружок вернулся со студенческого бала (первого в его жизни) в пять утра и, отчасти чтобы занять спичек, отчасти — заручиться свидетелем своего подвига, заметив свет в щели под дверью, заглянул к Жаку.

Он увидел лжетруп, блокнот с запиской, разбудил Махеддина, Стопвэла, Берлинов, доктора с пятого этажа.

В ход пошли грелки, припарки. Жака растирали, вливали сквозь стиснутые зубы черный кофе. Открыли окно.

Г-жа Берлин, воображая себя причиной самоубийства, обливалась горючими слезами. Берлин кутался в одеяло.

Спасательные работы приняли организованный характер. Послали за сиделкой. В восемь часов доктор объявил, что Жак вне опасности.

И чему он обязан был жизнью? Жулику. Снова, но на этот раз не впрямую, его спасла темная сторона. Бармен продал ему какую-то довольно слабую смесь.

X

Выздоровление затянулось, ибо отравленная кровь наделила его желтухой. После желтухи в левой ноге обнаружились симптомы неврита, который затем стал рассеянным. Жаку нравились его пронзительные уколы, которые одни только и отвлекают от навязчивой идеи, а в медицине именуются пронизывающими.

Несмотря на благопристойное исчезновение чемпиона по прыжкам, улица Эстрапад усугубляла его изнеможение.

Наконец, когда его стало можно перевозить, г-жа Форестье, которая жила в гостинице и весь месяц ухаживала за сыном с помощью Дружка, забрала его в Турень.

Там-то и просыпается Жак за полдень февральского дня, уже оправившийся и от яда, и от лекарств.

Его комната оклеена обоями со сценами старинной псовой охоты. Жар в камине яркий, пушистый, полосатый, издали похожий на кошку, а если подойти вплотную — пугающий, как морда тифа. Мать сидит около шезлонга и вяжет.

Жак оттягивает пробуждение. Он притворяется все еще спящим. Он не пускает воспоминания детства мешать его новым воспоминаниям.

Он занят нескончаемой, неуклюжей перестановкой шахматных фигурок: Жермена, Стопвэл, Озирис, Жак Форестье. Он исправляет свои ошибки, просчитывает невыполнимые комбинации.

Эта игра изводит его и подрывает скудные силы выздоравливающего. Через несколько секунд на шахматной доске все перемешивается; Озирис, Стопвэл, Жермена зажимают его со всех сторон. Он проиграл, как всегда.

Жак задается вопросом: не обознался ли он, не была ли Жермена подделкой, заблуждением его желаний, обманутых случайным сходством. Но нет. Желание не ошибается. Она из той самой расы.

Ибо везде на земле это особая раса; раса тех, кто не оглядывается, не страдает, не любит, не болеет; раса-алмаз, которая режет расу-стекло.

Ее-то представителям Жак и поклонялся издали. На этот раз он впервые столкнулся с ними вплотную.

Что могут сделать друг другу такие вот Жермена и Стопвэл? Но Дружок может порезаться о Стопвэла до самой души.

То же и раса-река. Дружок и Жак — из расы утопленников. Жак легко отделался. Еще немного — и остался бы на дне.

Впрочем, какой толк с того, что его выудили? Потечет мимо какая-нибудь из этих рек, сверкнет какой-нибудь из алмазов — и он неотвратимо кинется туда же.

Так нет же! Он будет бороться. Воля может изменить линии руки. Можно воздвигнуть плотину и повернуть судьбу по-своему. Улисс привязался к мачте; привяжется и он. У домашнего очага он спасется от сирен. Распознать их легко. Стоит решиться больше не преклонять к ним легковерного слуха — и сразу обнаружится пошлость их музыкального репертуара.

Что такое, собственно, алмаз? Разбогатевший сын угольщика. Не станем жертвовать ему своим будущим. Ни реке, ни алмазу. Не видать больше наших слез ни жидкой, ни твердой воде.

Так уговаривает себя Жак. Ему кажется, что он четко выделил враждебный тип, очертил его, видит как на ладони, накинул петлю на призрак, что он вооружен против опасности, о которой знает все.

Слова "река, алмаз, стекло, сирена" — всего лишь дикарские тотемы. Полезней был бы перечень примет. Но откуда ему взяться? У истинного чудовища несметное множество самых разных голов. Тело его скрыто за их бесчисленностью.

Жак потягивается, с улыбкой взглядывает на мать. Она встает. Сейчас она совершит трогательную бестактность — выдаст свою ревность.

— Жак, — говорит она, — сыночек, не мучь ты себя из-за скверной женщины.

Жак разом забывает свои решения. Он подбирается, готовый дать отпор. Г-жа Форестье снова садится. Он нашаривает на столе бумажник, демонстративно вынимает фотографию Жермены. И что же видит? Актрису. Он закрывает глаза. Потерянная было узда возникает вновь. Он хватается за нее. Мать все прощает и говорит, лишь бы не молчать:

А помнишь Иджи д'Ибрео в Мюррене?

Она считает петли…

В газете извещение о ее смерти. В Каире.

На этот раз г-жа Форестье роняет вязание. Жак валится на подушки. Слезы бегут по его лицу — глубинные слезы.

— Жак… ангел мой! — вскрикивает мать. — Что ты, что?

Жак!

Она обнимает его, окутывает своей шалью.

Он рыдает и не дает ответа.

Ему видится кровать. У кровати стоит бог Анубис. У него собачья голова. Он лижет маленькое личико, такое застывшее, такое благородное, уже мумифицированное страданием.

Эпилог

К концу месяца Жак был здоровее, чем до болезни, ибо болезнь — отдых, целительный для нервных людей. Надо было возвращаться к учебе. Решили, что в Париж он поедет с матерью, что они устроятся там по-семейному, и г-жа Форестье наймет репетитора. Идею эту подал Жак. Он чувствовал, что еще недостаточно обрел равновесие, чтобы жить без поддержки. Он знал, что они с матерью будут неминуемо ушибаться друг о друга, но константа любви, уважения подаст ему сигнал при малейшем отклонении от курса. Собственная его природа была недостаточно прямой, чтобы одергивать его. Когда она клонилась и сбивалась с пути, это происходило плавно и незаметно.

Г-ну Форестье больше не нужно было свинцовое грузило. Он отдал свою жену сыну. В мае он их навестит.

В Париж прибыли утром, и по сожалению о том, что он сходит с поезда не один, Жак понял, насколько необходимым будет присутствие г-жи Форестье. У него перехватывало дыхание. Он никак не мог решиться нырнуть в толпу. Трудно было войти в море. Вновь обретенное, оно показалось ему холодным и бурным.

Г-же Форестье надо было проветрить квартиру, договориться с прислугой, убрать чехлы и камфару. В семь они с Жаком встретятся и пойдут куда-нибудь обедать.

Улица возбуждала его исцеленное тело. Он говорил себе: "У меня открылись глаза. Я смотрю на Париж, как смотрел на Венецию. Нужны драмы, чтобы разбудить меня".

Затем он вновь впадал в бессилие под хаосом домов, автобусов, вывесок, загородок, киосков, свистков, подземных рокотов. Он вспоминал молодых героев Бальзака, которые, попадая в Париж, ставят ногу на первую ступеньку золотой лестницы. Для себя он не находил никакой зацепки. Он тяжело всплывал поверх этого легкого Парижа. Он был пятном масла на воде; плавучим обломком. Ему стало тошно.

Надо было зайти к потенциальному преподавателю, знакомому его отца, на улицу Реомюр. По счастью, того не оказалось дома. Жак оставил свою карточку.

Когда он проходил мимо почты около биржи, какой-то человек вышел из-под земли. Он узнал Озириса. Озирис, выходящий из некрополя, зияющего под храмом, был богом Озирисом, воплощением прошлого. Сердце Жака неистово забилось. Он прибавил шагу.

— Эй! Жак! Жак!

Нестор окликал его. Скрыться было невозможно.

— Куда вы так бежите? Ну надо же! Вот не ожидал вас встретить. Жермена говорила, что родители заточили вас в деревне. Между нами говоря, я вас посчитал изменником. Вроде бы мы ничем вас не обидели. Что ж так исчезать, не попрощавшись?

Жак промямлил, что был очень болен, что только что приехал из Турени и всего на один день.

— В Париж — на один день? Нет, я вас так не отпущу. Пойдемте выпьем вермута.

Контора Озириса была в двух шагах, на улице Ришелье.

Между тем как Нестор открывал двери, разоблачался, доставал из стенного шкафа вермут и стаканы, Жак увидел на каминной полке совсем недавнюю фотографию Жермены. На глаза ему навернулись слезы.

— Вы хорошо выглядите, только бледноваты. Выпейте-ка, — говорил Нестор, — вермут хорошо действует на лимфатическую систему. Курите? Нет? И я больше не курю. Соблюдаю режим. Вот поглядите на мой живот.

Он развалился в кожаном кресле, закинув ногу на ногу, левая рука на щиколотке, в правой — стакан.

— Эх, Жак, чертяка! Сколько мне Жермена ни твердила, что родители вас затребовали в срочном порядке, я все гадал, не обида ли у вас какая. Поди знай, что Жермена могла учудить! Ей бы все дразниться. То-то она обрадуется, что я вас видел. А знаете нашу последнюю причуду — кто у нас нынче фаворит? Нет, конечно, откуда вам знать. Попробуйте-ка угадайте — Махеддин! Да-да, голубчик, Махеддин. Только и света в окошке, что Махеддин. Махеддин поэт, Махеддин красавец! Видите, она не меняется.

Жак не ожидал услышать имя араба. Его удивление развеселило Нестора. Он хлопал себя по коленям и хохотал.

Мода есть мода. Пройдет в свой черед. Было уже, видали. Было и прошло, было и прошло… Жермена у нас нынче курит сигареты с амброй, ест рахат-лукум, жжет гаремные благовония. Все, от чего меня воротит. Я старый дурак. Махеддин всегда прав. Заметьте, если бы это я навязывал ей такой восточный базар, не приняла бы ни за что на свете. Вот вам женщина. Вот вам Жермена. Я не вмешиваюсь. Такая уж она есть, не нам менять.

А Луиза?

Луиза? Жермена с ней больше не видится. Тут своя история. Представьте себе, Махеддин вовсе не спал с Луизой. Это была платоническая любовь. А Жермена, видите ли, Махеддина у нее увела, и прочая, и прочая. Украли ее поэта! В общем-то меня не слишком огорчает, что она раздружилась с Луизой. Тоже штучка.

Тут, видите ли, до Махеддина свет клином сошелся на Англии. Мы и спортом-то занимались, и в гольф играли, и верхом ездили, ели порридж, читали «Тайме». Помереть можно было со смеху. Ну, раз на повестке дня Англия, нужен англичанин. Обзавелись англичанином; симпатичный, впрочем, парнишка. Да вы его знаете: Стопвэл. Как раз после вашего отъезда Стопвэл и попал в любимчики. Жак нас покинул — подавай нам обновку. Улавливаете? Бах — и готово. Англия продержалась тридцать семь дней. Через неделю после первого приступа англомании она находит этого вашего Стопвэла. Через месяц после находки я получаю анонимку. Жермена вам изменяет… (стиль вам известен), у нее холостяцкая квартирка на улице Добиньи. Ладно. Допустим. Я клюю. С охоты мчусь прямо на улицу Добиньи. Звоню. Открывают. И знаете, кого я там накрыл? Стопвэлла. Стопвэлла с Луизой. Ни больше, ни меньше. Бедняга Стопвэл был красный, как помидор. Луиза хохотала до слез. Квартирка-то ее — чтобы прятаться от Высочества, который проживает в Париже инкогнито. Видите, как все переврали! По дороге домой я все не мог решить, рассказывать ли Жермене? С ней ведь не знаешь, как обернется. В этот раз восприняла все трагически. Она-то считала Стопвэла девственником. Плакала. Как же, разбилась ее игрушка, ее конек, ее Англия. Я уж и заступался за Стопа, и объяснял, что плоть слаба, что Луиза… "Не надо. Он скотина. Все мужчины подлецы", и т. д., и т. п. Заявила, что ноги его больше здесь не будет. Кричала, что ее дом не дансинг, что она уедет жить одна на ферму. Уверяю вас, было что послушать.

Жак слушал, и ему было довольно-таки неловко. Квинт Курций пишет, что Александр, имея дело с варварами, мало-помалу заражался их недостатками. Но Жак если и подцепил от Жермены толику надувательской ловкости, успел уже ее утратить. Он больше не был Жаком из "Вокруг света". У него в голове не укладывалась такая слепота. Сейчас он был похож на детектива, который, угадав вора под усами банкира, нащупывает рукоятку револьвера. Он старался понять, не издевается ли над ним Озирис — может быть, он все знает и готовит какой-нибудь подвох?

Нестор продолжал:

— Чего ж вы хотите, дружок, она дьявол, сущий дьявол. Я ее такой и люблю, а поскольку она мне верна, остальное неважно.

Вермут Жака выплеснулся на кресло.

— Оставьте, ничего, — сказал Озирис. — Ей надо как-то развлекаться. Я-то ее развлекать не могу. Я снимаю ей квартиру, одеваю ее, балую, но у меня ведь банк. Голова забита расчетами. Будь я таким вот Стопвэлом или Махеддином — по сей день пас

бы ослов в Египте.

Он встал. Побарабанил по оконному стеклу.

Последние слова придали этому человеку такое величие, что Жак чуть отступил, чтобы охватить его взглядом. Быть может, то, что он в состоянии разглядеть — лишь подножие? Ему почудилось, что некий гранитный Озирис, восседающий на пяти ярусах мертвецов, улыбается с неизмеримой высоты, а вокруг него — небосвод в созвездиях цифр.

Озирис прервал молчание.

— Вот так, — сказал он, — такие-то у нас дела. А вот и сводка биржевых курсов. Мне надо идти. Вы со мной? Вам сейчас куда? Могу подвезти.

Нестор взял свое пальто и цилиндр. Нет. Перед Жаком был знакомый Нестор-простофиля. Его рога не были рогами быка Аписа.

В приемной молоденький телефонист наклеивал на конверты марки.

Что вы делаете, Жюль? — спросил Озирис. — Вы наклеиваете марки по пятьдесят сантимов на городские письма?

Других под рукой не оказалось, г-н Озирис, и я подумал…

Зря подумали, вы уволены.

Лик Озириса был воплощением непреклонности. Служащий пошатнулся.

— Без возражений, — прикрикнул Озирис, — пройдите в кассу. Вы уволены.

Хлопнула дверь.

На лестнице Жак все еще видел перед собой искаженное лицо человека, потерявшего работу. Под сводом парадного он решился. На тротуаре заговорил.

Г-н Озирис, — сказал он, — извините, мне надо бежать. Но окажите мне одну милость. Это насчет Жюля. Вы были несправедливы. Вы потеряли из-за него всего один франк. Почему вы его увольняете?

— Почему? — Озирис помолчал. — Потому что ЭТОГО, милый мой Жак, ЭТОГО я могу избежать.

Затем, уже с обычным своим выражением, благодушно распрощался. Автомобиль отъехал.

Жак остался один на площади биржи. В ушах у него продолжало звучать заглавное ЭТО Озириса; он так и видел, как египтянин, произнося это слово, треплет его за отворот пальто, словно за ухо.

Фраза казалась туманной, высокой и таинственной. В ней ему вновь почудилось что-то от улыбки колоссов.

Скорее всего, никакого смысла, кроме финансового, в ней не

таилось; то была лишь наглядная демонстрация метода, обеспечившего могущество Озирисов, способных снести самые тяжелые потери, глазом не моргнув — если только потери эти неизбежны. Но мысль Жака забегала вперед, обобщала.

Он решил на основе этой фразы, чего бы то ни стоило, выстроить себе характер, подковаться свинцом, облечься в какую-нибудь униформу.

Я болтаюсь неприкаянно в самом себе, думал он, и ЭТОГО я могу избежать. Остальное — Божья воля.

Обходя биржу по четвертому кругу, он увидел за воротами уволенного служащего Озириса. Жюль выглядел на диво веселым. Он играл в салки с велосипедистами из агентства "Гавас".

— Странная страна, — пробормотал Жак.

Именно так выразился бы ангел, сошедший посетить этот мир, спрятав крылья под заплечным ящиком стекольщика. Он добавил:

— Под какой униформой сумею я спрятать мое слишком громоздкое сердце? Его все равно будет видно.

Настроение Жака вновь омрачилось. Он прекрасно знал: чтобы жить на земле, надо следовать ее изменчивой моде, а сердце здесь нынче не носят.